

Афанасий Афанасьевич Фет

Рассказы



Афанасий Афанасьевич Фет

Рассказы

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21119350

Рассказы:

Аннотация

«...Есть люди, которые разговаривают вслух сами с собою. Не знаю, чего это признак и как бы растолковал доктор Крупов[1] подобную манию? Но я должен сознаться, что нередко вслух разговариваю сам с собою. В настоящую минуту делаю то же самое...»

Содержание

Каленик	5
Дядюшка и двоюродный братец	27
Начало и конец	27
I. Журнал	31
II. Приезд	43
III. Мизинцево	59
IV. Москва	73
V. Княгиня Наталья Николаевна	85
VI. Жених	94
VI. И то и се	108
VII. Рассказ Морева	116
VIII. Чернецов	127
Семейство Гольц	146
I	146
II	158
III	173
IV	184
V	193
VI	204
VII	208
VIII	213
Вне моды	218
Кактус	241

Афанасий Афанасьевич Фет Рассказы

Каленик

Есть люди, которые разговаривают вслух сами с собою. Не знаю, чего это признак и как бы растолковал доктор Крупов[1] подобную манию? Но я должен сознаться, что нередко вслух разговариваю сам с собою. В настоящую минуту делаю то же самое...

Все науки, все искусства стремятся к одной цели – постигнуть природу, разгадать ее отрывочные явления и привести их в духе нашем, так сказать, к одному знаменателю; а между тем исследователи, положив руку на сердце, должны признаться, что в объяснениях своих они говорят только слова и слова, а природа все-таки – древняя Изида[2]. Да зачем нам ходить так далеко, рассматривать окружающий нас мир? Там бездна. Загляните в себя: что такое мысль? Какой это своенравный, неуловимый деятель; а между тем у ней есть своя, строгая, беспощадная логика, сокровенная, загадочная, как самая мысль, не зави-

сящая от нашей воли и потому неизбежная, как судьба.

– Как это старо! – говорите вы. Согласен. А между тем я беспрестанно в своих монологах натываюсь на подобную сторону, о которой благоразумные люди и не думают, потому что это бесполезно.

Да и как же мне не говорить об этом?

На днях случилось со мной следующее. После обеда у знакомых, отдыхая, в числе прочих, на креслах, в кабинете, я, от нечего делать, начал рассматривать лежавшую близ меня иллюстрированную натуральную историю. Между прочими, прекрасно исполненными полнотелами, мне попало на глаза изображение жирного, неуклюжего зверка, с совершенно круглой головой, на которой только обозначались места для глаз, а самых глаз не было заметно. Выражение всей фигуры, и особенно головы, самое бессмысленное и между тем в высшей степени злое. С первого взгляда на этот полнотел я почувствовал, что уношусь из кабинета куда-то далеко; и когда глаза мои прочли французскую подпись: «Ziemsky», я невольно вскрикнул; но так громко, что присутствующие расхохотались. Разгадайте мне, каким образом в то же мгновение душа моя осветилась палевыми лучами заходящего южного солнца, наполнилась благоуханием вечерней степи, и мне показалось, что я

опять молод, что там, далеко, будут меня поджидать каждую минуту... подождут перед чаем, подождут за самоваром, пред ужином, за ужином и наконец долго, долго после ужина. Мне представилось, что я опять вижу этого самого, дотоле мне совершенно не знакомого, зверка ползущим по вспаханному полю и кричу своему кучеру: «стой!», вмиг соскакиваю с нетычанки и с изумленьем начинаю рассматривать движущуюся неуклюжую тварь дымчатого цвета, величиною, складом и движениями вполне напоминающую слепого четырехдневного щенка. Рассмотрев зверка довольно подробно сверху, я хочу перевернуть его ударом ноги, но в ту же минуту голос Каленика (моего кучера) раздается за мной: «Ваше благородие, хи, хи, хи! Не троньте, хи, хи! Если оно хи, хи! Если оно укусит, то надо умереть. Это зимское щеня, хи, хи». Испытав не раз неисчерпаемую мудрость Каленика, я перевернул зверя самым быстрым движением ноги, но сделал это весьма осторожно, причем зимское щеня показало две пары острых и весьма плотных клыков. «Хи, хи! Уж не рано! Ваше благородие, будет гроза, и мы, хи, хи, не доедем». Эти слова остудили мой естествоиспытательский пыл, и через минуту мы уже полной рысью катились по ровной дороге, какие бывают у нас только в южных губерниях, да и то летом, когда жадная земля тотчас впитывает в себя проливной дождь

и теплый ветер снова сушит ее поверхность. Когда Каленик с обычным смехом пророчил грозу, небо было совершенно чисто, заря погорала цветом добела, а не докрасна раскаленного железа, а между тем, услышав «хи, хи – будет гроза» – и «хи, хи, не доедем», я убедился, что это так все верно, как то, что нам до места оставалось верст пятнадцать. Отчего же такая доверенность к изречениям Каленика? – спросите вы. Очень просто: слова его постоянно оправдывались на деле, как это случилось на днях во французской «Иллюстрации» насчет незнакомого мне зверка. У француза он назван Ziemsky, а Каленик назвал его «зимское щеня», и я более верю Каленику. Усевшись в нетычанку, я пытался расспросить его: а почему ты знаешь, что это зимское щеня? «Хи, хи, как же не знать: оно зимское щеня». – «Кто же тебе это сказал?» Каленик не отвечал ничего, и на повторенный вопрос я услышал обычное «хи, хи, не могу знать». «Ну, а почему же ты знаешь, что будет гроза?» – «Как же хи, хи, сейчас будет». – «Да почему же ты это думаешь?» – «Как же, хи, хи, сейчас будет, хи, хи, вот-то нас проберет, хи, хи». Вполне убежденный, что виденный мною зверь зимское щеня и что сейчас будет гроза, я замолчал. Точно, не прошло пяти минут, как с юга понесло холодным ветром и на горизонте начали показываться тучи... Да что! это миллионная доля того,

что знал Каленик. Жаль, что на все расспросы относительно источника его сведений он, как истый мудрец, отвечал «не могу знать», а то, быть может, он открыл бы нам такие истины, до которых люди не дойдут и через 500 лет, а может быть, и никогда.

В 18.. году, прибыв из командировки в штаб полка, я подал рапорт о назначении мне казенного денщика и, возвратясь, по окончании караула, в эскадрон, совершенно забыл о моем рапорте. Уже через месяц получаю из полка предписание донести о прибытии ко мне денщика Каленика Вороненки, которого я и в глаза не видал. Судя по предписанию, что он более трех недель уже должен быть у меня, я решился обождать еще несколько дней и потом донес, что таковой Каленик не явился. Когда я запечатывал рапорт, слуга доложил мне, что вахмистр привел тщетно ожидаемого Каленика. Я вышел в переднюю и увидел русого малого, лет восемнадцати, с самым добродушным выражением лица, с серыми (сознаюсь в моем тогдашнем невежестве), мне показалось, самыми тупоумными глазами. «Где ты был?» – «Хи, хи, в Ершовке». – «Как в Ершовке? Стало быть, ты был здесь?» – «Хи, хи, никак нет». – «А где же ты был?» – «Хи, хи, в Ершовке». Я не предвидел конца нашему разговору, но вахмистр лукаво посмотрел на него и проговорил скороговоркой: «Ваше благородие, ему адъютант из-

волил дать бумагу да отправить сюда за двенадцать верст, в Ершовку, а он вспомнил, что в его губернии, изволите видеть, есть Ершовка, да туда. Я уже изволил ему говорить, что он не в таковую попал, а теперь, как прикажете?..»

«Ну, брат, живи смирно и делай что велят, так все будет хорошо». Лицо Каленика приняло какое-то торжественное выражение, и он голосом задушевного убеждения сказал: «Рад стараться». С этих пор во все продолжение службы его у меня я не мог им нахвалиться. Правда, все поручения он исполнял по-своему: но как результат оказывался удачным сверх ожидания, то к странному исполнению все привыкли. Несмотря на то, что, как истый хохленок, он был немного неряшлив, он тем не менее любил щеголять. Впрочем, щегольство его простиралось на три предмета: на красную рубашку, на новые сапоги, которые он шил всегда сам с особенным удовольствием, и на голубой картуз с кисточкой. Картуз этот непременно должен был быть бирюзового цвета с донышком на китовом усе, который Каленик неизбежно сломит, бывало, на другой день, так что картуз получал вид перегнутого листа для насыпания дроби в узкогорлую бутылку. С лошадьми, за которыми он смотрел у меня пять лет, он тоже обходился по-своему. На водопой водил обыкновенно к реке всю четверку; а когда ло-

шадей бывало более, то и в этом случае водил всех разом и каждый раз, когда лошади с водопоя начинали играть, упуская, заливаясь со смеху, заводных и падал с той, на которой сидел. Эта проделка повторялась решительно каждый день. Чувство страха было для него недоступно. Однажды слуга мой послал Каленика отыскать по деревне сливок к чаю. Ничего о том не зная, я сидел в своей комнате. Вдруг сдерживаемое судорожное «хи, хи, хи» раздаётся в передней. Я догадался: верно, что-нибудь случилось. Выхожу и вижу Каленика, который едва в состоянии, от смеха, держать окровавленными руками горшок с молоком. Полушубок и штаны его висели ключьями.

– Что это с тобой?

– Хи, хи, хи, хи.

– Что это?

– Собаки съели. Собак двадцать. Уж я бился, бился... коли б не баба, съели бы совсем. – И он снова залился истерическим смехом.

При переездах днем Каленик никогда не кричал на лошадей, зато ночью, как бы она ни была светла и хотя бы ехать было не далее пяти верст, он непременно кричал: «Эх, коники! не дайте в поле помереть!» Не проходило недели, чтоб к экипажам не приделывали нового дышла. Где и как он ухитрялся их ломать, я до сих пор не знаю. На охоте он был незаменим: не дер-

жав отроду ружья в руках, он с козел так зорко все видел, что был мне чрезвычайно полезен.

Если вы бывали в Малороссии, то знаете, что реки, впадающие в Днепр, образуют широкие луга, покрытые во время разлива водою, а в остальное время года озерами, оставшимися от половодья. Когда вода спадет, озера эти быстро зарастают исполинским камышом, и как, по причине топкости берегов, нельзя пробраться до воды, то дикие утки тысячами водятся в этих озерах. По кочковатому, покрытому мохом и осокою прибрежью озер, в пролет бывает множество бекасов и дупелей, которые, сколько я заметил, ежегодно держатся на тех же местах, хотя кругом раскиданы совершенно такие же болота. Линия половодья обозначена уступом рассыпчатого песку ослепительной белизны. С этого уступа уже начинается уровень степи, и, взойдя на него, можно далеко обозревать извивающуюся долину. В самое знойное время редко ездят по топкому лугу, и потому дорога идет обыкновенно под самым песчаным берегом.

Служебные обязанности заставили меня переехать на постоянное жительство в штаб. Зная в двух верстах подобную местность, во время травяного продовольствия, в июне, довольно часто наведывался я насчет пролета дупелей.

Наткнувшись на сильный пролет, я соблазнил ко-

мандира своего, когда-то страстного охотника и отличного стрелка, поехать со мной на охоту. Ружья у него сохранились прекрасные, но Медор был только страшен для слоняющихся по пустому рынку свиней и собак, а отнюдь не для дичи. Итак, нам пришлось обходиться моим Трезором; а как генеральские кучера не знали местности, то решено было, что нас повезет Каленик. У болота мы оставили нашего автомедона на дороге, а сами потянули влево по кочажнику, переходя от времени до времени по траве, досягавшей нам до колен. Генерал сначала объявил, что вообще не нуждается в собаке; но, убив пару дупелей, тогда как он не взогнал ни одного, я заметил, что, вместо удовольствия, могу только возбудить в нем досаду. Я свистнул Трезора и стал равняться так близко, что мы могли охотиться с одной собакой. К счастью, дупелей было много, и старый охотник, казалось, был совершенно доволен.

– Нет, идите вы направо, а я левее: поищу уток, – сказал он, настрелявшись вдоволь. Так мы и сделали. Вскоре я услышал выстрел и вслед за тем голос зовущего меня генерала:

– Накличьте, пожалуйста, сюда собаку: я видел, проклятая утка перелетела вон за тот камыш и, как перчатка, упала на той стороне.

Мы с трудом перебрали через воду, и поиски на-

чались. Напрасно собака более получаса описывала круги по высокой траве – утки не было как не было!

– Посмотрите, ваш Каленик делает какие-то телеграфические знаки...

Я взглянул: точно, Каленик, от которого мы ушли не менее версты, в азарте махал своим классическим картузом. Не понимая ничего, я начал отвечать ему тем же, делая знак, чтоб он подъехал, хотя внутренне отчаивался в возможности подобного подвига. Вероятно, он понял меня, потому что мы увидели, как он начал поворачивать лошадей то вправо, то влево, как лошади начали спотыкаться и обрываться в болото и как, наконец, нетычанка быстро понеслась к нам. Но на половине пути новое болото, и на этот раз Каленик решительно остановился.

Долго не мог я понять, что он кричал, наконец разобрал: «правее!» Я подался вправо. «Еще правей, подле генерала!» Мы оглянулись: в двух шагах за генералом из травы торчал неподвижный хвост собаки. Я подошел и поднял утку.

Охотники знают, как трудно на большом, беспредметном пространстве, даже и вблизи, с точностью определить место, на которое упала убитая птица.

– Ну, батюшка, вам не нужно никаких Трезоров!

– Он у меня всегда так, – отвечал я. – Каленик возьмется за какое-нибудь дело, вы посмотрите и подума-

ете, что он это делает на смех; подождите – увидите, что он прав.

Знаете ли вы, что такое учебный плац в степной губернии? Это произвольно большое пространство той же степи, на котором место учения меняют почти ежедневно, во избежание пыли там, где на прошедшем церемониале трава выбита копытами... Чисто, гладко. Там и сям торчат бог весть когда и для чего насыпанные курганы. Ни плетня, ни рва, ни канавы – гарцуй хоть до Одессы.

Видите ли вы эту кожаную сигарочницу? Лет шесть тому назад добрый товарищ моего детства, а впоследствии однополчанин[3], подарил мне ее, прощаясь со мной в Бирюлеве. Где-то теперь эта буйная головушка? Так же ли горячо бьется это нежное, благородное сердце? С тех пор я не расставался с моим подарком. Однажды на ученьи, скакав с линейными унтер-офицерами, я как-то обронил сигарочницу и, возвращаясь домой, вслух на это жаловался, считая, разумеется, сигарочницу погибшей. Раздосадованный потерей, я забыл не велеть отпрягать лошадей. Между тем, отдохнув немного, вспоминаю, что мне нужно ехать.

- Вели подавать.
- Дрожки отложены.
- Вели запретить.

– Некому.

– Как некому?

– Каленик сел на белогривого, да куда-то поскакал.

Недоумевая решительно, куда он поскакал, я, в нетерпении, вышел на улицу и стал глядеть направо и налево, не покажется ли он с которой-нибудь стороны. Ни слуху ни духу! Не знаю, долго ли я в волнении ходил перед воротами, как вдруг вижу под шлагбаумом показалась фигура Каленика, на белогривом, идущем самым флегматическим шагом. Я стал махать, кричать – ничего не помогало. Каленик приближался, но так медленно, что терпение мое истощалось. Наконец, когда до него мог долетать мой вопль, я закричал ему: «марш-марш!» С этим словом облако желтой пыли, как вихрь, понеслось ко мне, и когда лошадь ткнулась на всем скаку, чтоб круто поворотить в ворота, что-то шлепнуло, и я увидел Каленика распростертым на песке. Лошадь, привыкшая к подобным эволюциям, сделала страшный прыжок, вскинула задние ноги на воздух и, взвизгнув, понеслась в конюшню.

– Что ты, ушибся?

– Хи, хи, хи! Никак нет, ничего.

– Куда же это ты ездил?

– На плац.

– Зачем?

– За торбочкой.

Хладнокровный взгляд Каленика вполне убеждал меня, что он, как по всем вероятностям должно было ожидать, съездил даром, и я принялся его бранить.

– Ведь вот, если б у тебя хотя на грош было толку, поехал ли бы ты в степь искать то, чего, должно быть, никогда не видал.

– Никак нет-с, хи, хи, хи.

– Что никак нет-с? Так зачем же ты ездил?

– За торбочкой.

И, в подтверждение своего толкования, он достал пазухи сигарочницу.

Я замолчал. Мне стало стыдно. Как ни был я убежден в мудрости Каленика, но бывали случаи, когда я не дерзал ей слепо доверяться. Он иногда с самым добродушным хладнокровием, с самым чистосердечным смехом и к тому же без всякой видимой необходимости решался во что бы ни стало сделаться сказочным героем и затмить славу Геллы[4], Европы[5] и всех баснословных плователей и путешественников. Однажды в той же нетычанке я возвращался с товарищем с бала. Это было на масленой. Тонкий слой накануне пропорошившего снега покрывал промерзлую землю. Ночь была месячна и так же светла, как петербургские летние ночи. Мы ехали шибко. Гладкая дорога гудела под нами, как чугун. Товарищ мой прислонился в правом углу нетычанки и, вероятно, дре-

мал; а я, для совершенного спокойствия, спустился с сиденья и, плотно завернувшись в шубу, заснул. Внезапно прервавшийся гул и сотрясение разбудили меня. Приподымаюсь – боже! что это такое?

Узнаю знакомую гнилую речку, деревню на противоположном берегу и вижу, что Каленик, шикая, спускается на лед. Я схватил его за плечо и крикнул: «Стой!»

Он остановил лошадей.

– Куда ты едешь?

– Дорогою.

С этим я не мог согласиться. Дорога, как известно всему миру, шла шагов на сто левее, да и по ней-то я не советовал бы никому пускаться четверкой в ряд в феврале. А там, куда правил Каленик, был омут, на котором лед даже и в декабре никогда не бывал надежен.

– Дай мне вожжи, а сам ступай пешком на ту сторону; да найди перевозчиков, которые лучше нашего знают, что тут делать.

Во время разговора товарищ мой очнулся и вполне одобрил мое распоряжение. Каленик слез с козел и начал перебираться через реку, стегая перед собой кнутом лед.

– Посмотри, посмотри, что это он делает? – спросил товарищ, – экой болван! Хоть бы шел левее, а то воображает, будто лед, выдерживая удар кнута, обя-

зан сдержан и кучера.

Я ничего не отвечал и смутно чувствовал, что Каленик просечет себе дорогу. Наконец он стал приподниматься на противоположный берег и закричал своим визгливым фальцетом: «Эй, подите сюда!» Никто не отзывался. Он пошел вдоль деревни, немилосердно стуча в ставни и двери каждой хаты, – то же безмолвие. От белых стен, освещенных луною, темная фигура Каленика обозначалась так резко, что мы могли видеть малейшее его движение. С четверть часа ходил он безуспешно от одних дверей к другим; но вдруг стал бросаться туда и сюда, как сумасшедший, и в то же время слышался такой страшный визг, вой и лай, что даже становилось жутко. Уж не напали ли опять на него собаки? но в таком случае он бы кричал, а выходит, что он гоняется за собаками. Несколько минут адский гам не умолкал, и вот в одном окне зажегся огонь и вслед за тем дверь хаты отворилась. Перевозчики, один за другим, вышли на улицу, перешли еще левей дороги через лед, отпрягли лошадей и перевели их по одной на ту сторону. Нетычанку перекатили на руках. Как правдивый рассказчик, я должен добавить, что один из вожатых, захотев, вероятно, скорее до нас дойти и избрав для этого тот путь, по которому перешел Каленик с кнутом, едва только начал пробовать лед своим шестом, провалился по

пояс.

Сообразя все эти обстоятельства, я невольно подумал: а может быть, Каленик тут бы и четверкой проехал? убеждение его разве ничего не значит?

Впрочем, нет, он не имел твердых убеждений. Убеждение предполагает анализ, а мудрость давалась ему синтетически. Он только непостижимым чутьем угадывал кратчайший путь к истине, не зная и нисколько не заботясь о том, дойдет ли он до нее.

Вот вам на это доказательство. Вы помните, как предсказание Каленика насчет грозы заставило меня немедленно прервать изучение зимского щеня и как неожиданно скоро показавшиеся тучи оправдали слова моего «астронома». Не думайте, чтоб это была острота – нет: это прозвище Каленика, под которым знал его весь полк. Кто первый его им пожаловал – история умалчивает.

– Что тебе вздумалось в такой жар потчевать нас ветчиной? Пошли за редисом.

– Некого. Вестового я услал седлать Арлекина, а человек ушел со двора.

– Пошли своего астронома.

Я назвал бы Каленика скорее метеорологом, но и астрономом его можно было назвать. Он отлично знал, или, лучше сказать, чувствовал, какая теперь четверть луны, который час дня или ночи и сколько

прибыло или убыло во дне часов.

Возвращаюсь к рассказу, или, лучше сказать, к путешествию. Предсказание Каленика сбывалось во всей силе. Тучи, заволакивая горизонт, темным полусфером быстро надвигались на еще мерцающий вечер, как черный наличник опускается на свежее лицо молодого воина. Дождевые капли начали тяжело стучать по кожаному фартуку нетычанки, и вслед за тем полило как из ведра. Оставалось ехать всего верст десять, то есть версты четыре до Чуты, версты две за Чутою – и, увы! версты четыре Чутою. Вся правая сторона Днепра покрыта, как известно, дремучими лесами, составляющими, так сказать, сплошную массу, раскидывающую свои отрасли на бесконечные пространства. Одна из подобных отраслей, пересекающая Киевскую и половину Херсонской губерний, называется Чутой. Что это за славный лес! Чей глаз привык скользить по чернеющему строю чахоточных елей и задумчивых сосен, тот не может понять, какое впечатление производит на путника, утомленного однообразием огнедышащей степи, этот свежий, благоуханный, идущий к вам навстречу исполин. Вы вступили в его очарованный круг. Какая целебная прохлада! как тут легко дышать! какая сила в каждой ветке, в каждом листе! Ни одной березы, ни одной сосны – все широколиственный клен, столетний дуб и щеголева-

тый берест.

Весною все лужайки сплошь покрываются какими-то нежными голубыми цветами, напоминающими незабудки. Нигде в другом месте не видал я таких цветов. Ленивый до последней крайности, я во всю жизнь свою не постигал значения слова «гулять». Но, проезжая весной через Чуту, я не выдержал, соскочил с тарантаса, пешком прошел весь лес и бессознательно нарвал целый сноп этих очаровательно-насмешливых и свежозадумчивых голубых цветов.

Но всякая вещь, как угодно было заметить жившим до меня мудрецам, имеет свою хорошую и худую сторону. В Чуте я вам указал на хорошую – постараюсь указать на скверную.

Степной грунт имеет свойство, несмотря на страшную силу палящего солнца, не умеряемую никакой тенью, хранить долгое время влагу. Это доказывает обильное произрастание. Вследствие этого легко понять, почему в тенистой Чуте, куда лучи проникают с трудом, грунт земли всегда влажен, а дорога, пересекающая лес, почти круглый год до крайности разъезжена, выбита, грязна и до того скользка, что самые острые подковы не помогают лошадям на ней держаться. Дорога эта, или, как говорится, просека довольно широка, но и днем не разберешь, держаться ли правее или левее, потому что и там соскользнешь

в ров, и тут лошади попадают.

Черный рыцарь окончательно надвинул свое забрало и темнота с трудом позволяла различать дорогу. Дождь продолжал лить. Вот направо от дороги засветился огонь – это дом лесничего, окруженный службами, в которых помещались инвалиды лесной стражи.

Если б я не боялся слишком часто прерывать нить повествования, то рассказал бы, как хороша эта маленькая вилла, вдали от людей приютившаяся у самого въезда в просеку. Мне всегда казалось, что громадный дуб с каким-то особенным чувством протягивает свои мохнатые сучья над щеголевато-остриженной камышовой кровлей. Как видна любовь к порядку в этом тщательно и красиво огороженном цветнике, в этих отлично содержанных клумбах! какой невозмутимой тишиной веет от этих пышных кустов белой акации! как милы и просты эти кисейные занавески на окнах! Верно, между здешними обитателями есть женщины. Мне помнится, однажды в растворенное окно я видел пальцы...

В настоящую минуту, под влиянием холодного дождя, промочившего меня до костей, яркий свет, косвенно падавший из окон на дорогу, не возбуждал во мне ни малейшего сочувствия к обитателям приюта; напротив, мне было досадно, что людям тепло и свет-

ло, а я дрожу от холода, и передо мной во мраке, едва проницаемом для глаз, сияет четверугольная рама просеки, наполненная тьмою. Ночевать здесь я ни за что бы не решился. Стоило ли для этого гнать лошадей и мокнуть? Мне хотелось поскорей туда, за Чуту: там еще светлей, еще теплей, там я даже буду радоваться, что промок, а все-таки приехал. Брать проводника я тоже не хотел, да и к чему? Он столько же увидит, как и мы, то есть ровно ничего. Все это я передумал перед въездом в просеку и, молча, на этот раз совершенно отдался на волю Каленика. Он тоже молчал и продолжал гнать рысью. Но вот мы въехали в лес; нетычанку начинает швырять со стороны на сторону; слышно, как лошади скользят и ошибаются ногами.

– Да поезжай шагом!

– Хи, хи, хи! – И он поехал шагом.

– Бери правей, или ты не слышишь, мы катимся в ров? Да куда же ты влево-то опять забираешь? Пусти лошадей. Ведь вот тебе, дураку, и сказать-то ничего нельзя. Распустил лошадей, они и падают. Которая упала?

– Копчик за вожжи дернул.

– Так слезь да распутай его как-нибудь.

– Хи, хи, хи. Вот так штука!

Легко было мне сердиться и читать наставления, но придерживаться в этом случае какого-нибудь правила

было не только нелегко, но положительно невозможно. Тьма была такая, что я не видал собственных рук. От времени до времени молния на миг освещала дорогу, а громовые раскаты пробуждали в лесу какой-то странный, зловещий ропот.

Хотя кони наши были довольно бойки, но всем известно, как темнота умиряет самую прыткую лошадь. Во мраке она везет усердно и делается крайне покорной. Одного можно было ожидать: не вздумалось бы задумчивому волку, которых здесь более чем где-либо, полюбоваться нашим путешествием. В таком случае я бы не взялся сказать, чем могло бы кончиться наше полуночное ристание по лесу... Дождь не переставал лить. Мы подвигались вперед со скоростью версты в час. Блеснула молния, и вижу, что мы подъезжаем только к первому мостику, а их еще впереди три.

– Что, Каленик? Выедем мы из лесу?

– А кто его знает? Хи, хи, хи.

В этом хи-хи-хи было столько искренней веселости, оно звучало так же визгливо, как будто я застал Каленика на пороге конюшни над неспелым арбузом и побранил, зачем он ест всякую дрянь.

Тут я в первый раз понял, что у него нет убеждения. Одно чутье, один гений – и больше ничего. Но, увы! наши способности развиваются всегда одни на счет

других. И Каленик подвергся общему закону развития. Он положительно знал уже, что такое пепероски, находил у лошадей хвинтазию, утверждал, что морды у них оттого искусаны, что они в стойлах по ночам заводят канитель, и наконец торжественно пришел просить, чтоб ему сшили плисовую поддевку.

Вероятно, вследствие образования, он уже считал для себя неприличным отвечать на вопросы о погоде, а я подозреваю, что он совершенно утратил свое второе зрение и вошел в череду обыкновенных людей, о которых говорить более нечего.

Дядюшка и двоюродный братец

Начало и конец

Мазурка приходила к концу. Люстры горели уже не так ярко. Многие прически порастрепались, букеты увяли, даже терпеливые камелии видимо потускнели. Адъютант, танцевавший в первой паре, объявил, что это последняя фигура.

– Посмотрите, как весел Ковалев, – сказала моя дама, обращаясь ко мне, – как ловко он несется с С...вой. Сейчас видно, что он счастлив. И точно, она прехорошенькая!

Я кивнул головой в знак согласия.

– Отчего вы так милостиво киваете головой? Неужели вы не удостоиваете сказать слова в честь красоты С...вой?

– Когда солнце на небе, звезды...

– Пожалуйста, без общих мест. Право, она прелестна, да и Ковалев такой милый...

– Весьма приятно будет мне передать ему ваше лестное о нем мнение.

– Это не одно мое мнение, но всех, кто его знает.

Между тем мазурка кончилась. Стулья загремели,

и я раскланялся с моей дамой.

– На два слова, – сказал Ковалев, взяв меня под руку и отводя в соседнюю комнату. – Мы скоро уезжаем?

– Сейчас же.

– Как это можно? С последнего собрания, да еще и перед походом.

– Мазурка кончена. Что ж тут делать?

– Верно, будет полька, а может быть, и галопад.

– Бог с ними!

– Ну так слушай: у меня есть до тебя просьба.

– Сделай милость...

– Ты знаешь, мы выходим послезавтра в поход, а вам кажется, назначено месяца через два.

– Да.

– Когда вы выйдете, кто поступит на ваши квартиры?

– Никто.

– Ты где оставишь лишние вещи?

– В моем казенном домике.

– Кто за ними присмотрит?

– Поселенный инвалид.

– Позволь и мне прислать к тебе свой хлам, воз целый наберется. Чего там нет! Седел, мундштуков, корд, мебели, книг, старых бумаг – одним словом, всякой дряни... А нам велено очистить квартиры под резервы.

– Пожалуйста, не ораторствуй, а присылай.

– Спасибо. Прощай.

Я уехал в гостиницу, переоделся и в восемь часов утра был уже в штабе полка.

Когда полк наш, в свою очередь, выступил в поход, уланы, в которых служил Ковалев, были уже в Венгрии. В Новомиргороде нас остановили до особого приказа. Этого приказа мы ждали с нетерпением. Раз, когда мы собрались на плац перед гауптвахтой на офицерскую езду, к кружку офицеров подошел поручик П.

– Знаете ли, господа, печальную новость. Сестра пишет мне, что Ковалев убит. Первое неприятельское ядро, направленное против их полка, попало ему в грудь.

Я не хотел верить этому известию – так живо представлялся мне веселый, счастливый Ковалев на последнем бале. Но сомнения исчезли, когда, недели через три, я прочел в газетах о смерти штабс-ротмистра Ковалева.

И война кончилась. Мы возвратились на старые квартиры. Куда мне было деваться с имуществом Ковалева? Я знал, что он был совершенно одинок. Да и вещи-то были по большей части офицерские принадлежности, не только другого полка, но и другого оружия, следовательно, купить их было у нас некому.

Желая отыскать какие-нибудь положительные сведения о родине Ковалева, я стал рыться в его бумагах. В одном из сундуков с книгами мне попала писаная тетрадь без начала и без конца. От нечего делать я прочел ее и нашел если не повесть, то, по крайней мере, несколько очерков. Дело идет о дяде и двоюродном брате. Под этим именем, выставленном мною на ;дачу в заголовке, представляю тетрадь на суд благосклонного читателя.

De mortuis nihil nisi bene![6]

I. Журнал

– Ну-с! далее! – говорил Василий Васильевич.

– Дублин, Портсмут, Плимут, Ярмут – портовые города, – повторил я однообразным и несколько печальным напевом, а между тем зрочки мои были обращены к окну и все внимание устремлено в палисадник. Там, на одном из суков старой липы, висела западня, а посреди сугробов, на протоптанной тропе, лежали четыре кирпича, соприкасающиеся так, что образовывали продолговатое четвероугольное углубление, над которым, в виде крыши, опираясь на подчинку, стоял наискось пятый кирпич. Следовательно, и этот несложный механизм был тоже западней.

– Ну-с! далее!

– Дублин, Портсмут, Плимут, Ярмут – портовые города, – проговорил я таким тоном, как будто сторицею платил до последней копейки старый долг, а «портовые города» произнес на этот раз так, что всякий посторонний подумал бы: «Да чего же он еще хочет от дитяти? Уж если он и теперь недоволен, так бог его знает, как ему угодить».

Но Василья Васильевича нелегко было удовлетворить в подобном случае.

– Вы урока не знаете, – сказал он, – извольте идти

в угол.

– Помилуйте, Василий Васильевич, да я знаю. Сейчас все скажу: Чичестер.

– А! вот, давно бы так! – заметил Василий Васильевич одобрительным голосом.

Но мог ли я не смотреть в палисадник? Три синицы вылетели из покрытого тяжелым инеем сиреневого куста и жадно бросились на пустую шелуху конопляного семени, выброшенную ветром из западни. Не нашед ожидаемой пищи, они порхнули в разные стороны. Одна начала прыгать по кирпичам, лукаво заглядывая внутрь отверстия; две другие сели на западню. Одна из них, вопреки вертлявой своей природе, сидела неподвижно наверху качающейся клетки и заливалась таким звонким свистом, что последние ноты его долетали до моего слуха сквозь двойные стекла. Ветер, запрокидывая перышки на ее голове, придавал ей какой-то странный, надменный вид. Третья оказалась или самой глупой, или самой жадной. Она бойко прыгала по дверцам западни и так наклонялась к корму, что я с каждой минутой ждал – вот-вот она прыгнет на жердочку, и тогда...

– Ну-с! далее! – сказал Василий Васильевич.

В эту минуту западня захлопнулась, и пойманная синица заметалась по клетке. Стул опрокинут, чернила пролиты, и в несколько прыжков я уже на дворе.

Ноги по колено в снегу, но зато рука в клетке и чувствует во власти своей эту вертлявую, нарядную синичку.

Я знал, где у Сережи (бедного мальчика, взятого в дом для возбуждения во мне рвения к наукам) стояли пустые клетки. Синица посажена, и я, покрасневшись от холода и радости, вбежал в классную, крича во все горло: «Чичестер, Дорчестер»; но уж было поздно: Сережа, с смиренным видом исправителя чужих прегрешений, втягивал бумажной дудочкой пролитые чернила и вливал их таким образом снова в чернильницу. Василий Васильевич ходил разгневанный по комнате. А между тем самый-то главный птицелов был Сережа, и западня была его. Но, приводя в порядок классный стол, он вздыхал так укоризненно для меня, что Василий Васильевич не мог не видеть всего нравственного превосходства Сережи надо мной.

При взгляде на них я уже знал свою судьбу.

– Становитесь на колени! – сказал Василий Васильевич.

Я повиновался. Если мне и больно было стоять на коленях, то в этом случае я утешался примером спартанских юношей, с таким геройством переносивших удары розог (едва ли не единственный факт древней истории, врезавшийся мне в память).

Стоя на коленях, я страдал душевно. Мне казалось, что уже поднялась суматоха; что горничные бегут из портной швальни в девичью, с холодными утыгами и горячими лицами; что дворовые загоняют распущенных по барскому двору кур и гусей; что за версту с горы спускается зимний возок и за ним кибитка с кухней и что по всему дому вполголоса раздаётся: «Барин едет». Все это живо рисовалось в моем воображении, и мне становилось страшно...

Я очень хорошо помнил, как батюшка, уезжая, говорил: «Да ты, Василий Васильич, заведи журнал и записывай мне каждый день, как он учился, как вел себя. Я знаю, он не захочет топтать в грязь мои труды, мой пот. Я езжу по имениям, хлопочу, на трудовую копейку нанимаю учителей – он это понимает. А ты, Василий Васильич, заведи журнал».

Я знал, что в настоящую минуту этот журнал испи-сан почти кругом, и видел, как Василий Васильевич (он спал в классной) вытащил его из-под своей подушки и стал в нем писать. Без сомнения, и сегодня будет написано, как это случилось по большей части: «Урока не знал, писал худо, в классе вел себя неприлично». Кроме того, матушка, войдя в класс, могла увидеть меня в таком унижительном положении. Начались бы увещания, отчаяние касательно будущей моей учености, а главное, матушка не преминула бы вы-

ставить на вид образцовое поведение и примерные успехи в науках и искусствах моего кузена, Аполлона Шмакова.

– Вот ребенок, с которого ты должен брать пример. Он двумя годами только старше тебя, а посмотри, какие милые французские письма ко мне он пишет и какие прописи прислал в подарок. Василий Васильич, отчего вы не можете дать ребенку этот почерк?

На это Василий Васильевич обыкновенно возражал: «Да помилуйте, сударыня, эти буквы все наведены по карандашу», с чем матушка никогда, по крайней мере явно, не соглашалась. Стоя на коленях, под влиянием стыда и страха, я старался как можно скорее вбить себе в голову несносный урок, и когда Василий Васильевич через полчаса возвратился в классную, из которой уходил в соседнюю комнату потянуть перед топящейся печкой Жукова, я, не дав ему времени уложить под подушку запрещенные орудия удовольствия, закричал:

– Василий Васильич, я знаю...

– Не знаете.

– Извольте прослушать: Дублин, Портсмут...

Урок сказан, и я получил прощение.

А грозный журнал – боже! как быть? Говорят, детство самое блаженное время. Для меня оно было исполнено грозных, томительных призраков, окружав-

ших такую же тяжелую действительность. Единственная моя отрада в грустных воспоминаниях детства – сознание, приобретенное впоследствии, что меня воспитывали не просто, а по системе! Когда матушка, ввивало, прикажет летом выносить на солнце отцовское платье и растворить в кабинете шкаф, то я, рассматривал мамонтов зуб, раковины и янтари на нижней полке, находил на второй, между старыми нумерами «Вестника Европы», все сочинения Ж.-Ж. Руссо и, кроме того, «Эмиля»[7] на французском, немецком и русском языках. Вот почему за столом, когда матушка начнет, бывало, столь убийственное для меня сравнение с кузенком Аполлоном, батюшка постоянно прерывал ее:

– Оставьте, пожалуйста! Может быть, я в другом ничего не знаю, но в воспитании я фанатик. Это моя идея! Аполлона сестра губит; он у нее и теперь смешон. Что это такое? Ребенок – старик. Нет, нет, это не моя метода! (В это время я обыкновенно наливал себе стакан холодной воды, хотя пить мне вовсе не хотелось.) Ты, Василий Васильевич, более на прогулках старайся преподавать – это приятно остается в памяти, – где-нибудь в роще, на чистом воздухе...

Батюшка не знал, что все четыре легавые собаки всегда сопутствовали нам на ученых прогулках и до того разбаловались, что ничего не искали, кроме ежей

и зайцев. Ужасный лай их сильно занимал меня; да и учитель, бывало, велит набрать Сереже ежей и несет к реке, любопытствуя видеть, как ловко они плавают, загнув кверху свое острое, свиное рыльце. Но каково бы ни было мнение посторонних, я всегда буду утверждать, что родители сильно заботились о моем воспитании и не допускали ни малейшего уклонения от принятой однажды наилучшей системы. Вследствие этой системы до шести лет мне не давали мяса, а до совершенной перемены зубов – ничего, в чем заключалась хоть малейшая частица сахара. Батюшка, заметив несколько раз, как я, за обедом, прислонялся к спинке стула, даже приказал Ивану столяру отпилить эту спинку и нанести лак на отпиленных местах. Если я не съедал тарелки ненавистного мне супа из перловых круп и не съедал приводящих меня и поныне в содрогание пирожков с морковью, меня после обеда запирали на ключ в отдаленную комнату. Батюшка любил эти пирожки, и они подавались два раза в неделю. Несмотря на бившую меня лихорадку, я принужден был есть их – разумеется, для моей же пользы.

На учителей ничего не жалели. У меня перебивало их много. Кроме иностранцев, все они были из семинарии и получали в год даже до 300 р. ассигн. Костюм у всех, при появлении, состоял из иверолисового сюртука светло-табачного цвета. Исключения не помню.

Время пребывания их в доме можно было определить количеством платья каждого. Через полгода обыкновенно появлялся сюртук тонкого сукна оливковый, через год такой же – черный, через полтора – оливкового цвета шинель и, наконец, через два – черная фракная пара. Высота галстука соответствовала личным достоинствам и степени учености каждого. Большая часть наставников редко доходила далее оливкового сюртука; один Василий Васильевич дожил до фрака: поэтому позволю себе сказать о нем несколько слов. Это был человек с необыкновенными способностями вырезать из клена ложки точь-в-точь такой же формы, как серебряные. Из обломков черепахи во время класса он делал, для горничных, перочинным ножом такие подвески, что вся девичья не могла надивиться. По поводу Аннушки, я даже открыл, что Василий Васильич был поэт. Описывать Аннушку не стану. Когда, впоследствии, я читал у Пушкина:

Коса змеей на гребне роговом;
Из-за ушей змиями кудри русы;
Косыночка крест-накрест, иль узлом,
На тонкой шейке восковые бусы[8],

мне всегда представлялась Аннушка. Все было точно так, даже бусы не забыты. Прибавьте к этому ее мастерство переделывать старые шелковые платья,

которые матушка ей дарила, да по праздникам шелковый пояс, с распущенным концом, и ленты из-под блестящей тульской пряжки, подаренной чуть ли не Васильем Васильевичем. Однажды, ранее обыкновенного пришедши в классную, я нашел на письменном столе учителя, ушедшего на прогулку, лист бумаги, написанный красивыми, но весьма неровными строчками. Читаю:

Цветок милый и душистый,
Цветы для юности моей...

В это время послышались шаги, и вот причина, по которой я не знаю продолжения этих прекрасных стихов. Гордый человек был Василий Васильевич! Хотя он прибыл в дом в иверолисовом сюртуке, но галстук постоянно подвязывал под самые уши, над которыми весьма авантажно красовались два густо намаженные завитка. Несмотря, однако ж, на гордость свою, спины Василий Васильевич не любил ни к кому оборачивать: там, на сюртуке, был изъянец, в виде продолговатого желтого пятна, появившегося, вероятно, от нечаянно раздавленной ягоды. Это пятно Сережа прозвал островом Мадагаскаром. Не знаю, проведал ли об этом Василий Васильевич, но когда, бывало, матушка придет с чулком в класс и спросит:

«Отчего вы, Василий Васильич, никогда не повторите с ребенком Африки?» Василий Васильевич, заметно краснея, отвечал постоянно: «Помилуйте, сударыня! да это чистая степь: стоит ли на нее время тратить; да и народ-то такой невежественный». При всем уважении к Василью Васильевичу, я не мог утерпеть, чтоб не сказать «Маман! Да я знаю остров Мадагаскар». В подобные минуты лицо Сережи принимало самое кроткое выражение. Раза два, во время пребывания в нашем доме, Василий Васильевич, задав нам уроки, уезжал по своим делам недели на две. Тогда матушка вступала в дело преподавания. Я любил слушать, когда она с увлечением рассказывала о воспитании и подвигах Кира[9], о уважении Александра[10] к своему учителю, о мученической смерти добродетельного Сократа[11]. Из уроков Василья Васильевича помнил я только, что какие-то народы с глумом и яростью устремлялись куда-то. В часы, назначенные для алгебры, матушка задавала нам задачи из арифметики, и тут я не раз ставил ошибкой единицы под десятками, отчего сумма, несмотря на точное соблюдение всех правил операции, выходила какая-то странная. Так однажды из $22 + 22$ у меня совершенно верно вышло 242. Такие решения задач кончались неутешными слезами матушки, что я объяснял наклоном ее к истерике. Несмотря на подобные сцены, матушка

прослушивала уроки из всех предметов, придерживаясь отчасти рациональной системы батюшки, по которой ребенок прежде всего должен понимать то, что учит. Заметив однажды, по певучести, с какою я, говоря урок из латинской грамматики, произносил: *mare-ris* – море, *cete-torum* – кит, матушка приказала мне заучить: *mare*-море, *ris* – море, *cete* – кит, *torum* – кит. Василий Васильевич остался недоволен подобным знанием, хотя и не объяснил мне, что *ris* и *torum* окончания родительных падежей. Из всего сказанного ясно, почему батюшка называл воспитание кузена Аполлона дешевеньким и дюжинным, прибавляя: «Нет, нет, это все цветочки, да листочки, и для моих детей этого мало».

Так проходили дни за днями. Однажды, месяца два спустя, после первого решительного приказания со стороны батюшки вести журнал, из дальней деревни пришел обоз с пшеницей, и с этой оказией матушка получила уведомление о скором прибытии батюшки. Не умею описать моего страха при этом известии. Пускай бы Василий Васильевич сказал разом, что я был неисправен, а то батюшка увидит на каждой странице, на каждой строчке: «худо», «нехорошо», «нерадиво», «лениво»... Нет, это выше сил моих! Весь день до вечера я был как в лихорадке. Наконец я решился. Когда Василий Васильевич вышел в столовую, я

судорожно выхватил грозный журнал из-под подушки и, спрятав под полою, выбежал в палисадник, убедившись наперед, что никто меня не увидит. Выдернув одну из забытых подпорок, к которой летом привязываются георгины, я засунул ею журнал в одно из глухих окон в фундаменте, так, однако ж, чтоб мог, в крайности, достать его. На другой день к вечеру батюшка приехал. Выслушав приказчика, старосту, ключника и повара, он за чаем обратился к Василью Васильевичу с вопросом: «А каково он учился?» – «Неудовлетворительно». – «Покажите журнал!» Василий Васильевич пошел искать тетрадку. Журнал куда-то заложился. Положение Василья Васильевича было не из лучших, хотя батюшка только и сказал ему: «Да как же это ты не вел журнала-то? Ведь я говорил тебе. Да нет, нет, да-таки нет, нет, Василий Васильич, так нельзя!» Жаль мне было и Василья Васильевича, а тем не менее журнал со всей нисходящей линией покоится по сей день в известном окне фундамента.

II. Приезд

Двадцать второго июня, накануне именин матушки, часа в четыре после обеда, дом наш представлял совершенный образец тишины и порядка. Полы и окна вымыты мылом, чехлы на мебели надеты ослепительной белизны, кресла вокруг овального стола в гостиной расставлены самым правильным полукругом, с люстры снят кисейный чехол, и все рожки уставлены восковыми свечами. Матушка сидела у растворенного окна за какой-то работой. Батюшка расхаживал по зале, от времени до времени подходил к тому же окну и, доглядев на большую дорогу, повторял: «Странно, Однако ж, что сестра не едет». – «Да, пора бы им приехать», – замечала матушка. «От постоянного двора, где они ночевали, всего верст сорок; да верно на пароме задержали». Матушка еще накануне объявила мне, что тетушка Вера Петровна и дядюшка Павел Ильич привезут кузена Аполлона[12], и тогда я увижу, какой это воспитанный мальчик. Зависть к Аполлону уже заочно так сильно развилась во мне, что я боялся его увидеть. Но делать было нечего. Еще несколько часов – он приедет и совершенно затмит меня. Все напоминавшее о завтрашнем дне приводило меня в содрогание. Дворовые девочки, возвращавшиеся из

кухни, где Павел-кондитер заставлял их завертывать конфеты, батареи оправленных свечей с затейливыми бумажными кружевами в лакейской, груда складных столов, запрятанных под лестницей, ведущей в мезонин, даже синий полуфрачок с ясными пуговицами и батистовый воротничок, на котором рукою Аннушки с таким искусством вышиты бабочки, – напоминали неизбежное торжество Аполлона и были мне противны.

Из-за рожи по большой дороге показалась тяжелая желтая карета шестериком и за ней крытая бричка тройкой. «Это они!» – воскликнула матушка. «Да, это сестра», – сказал батюшка, и вслед за тем все, даже Василий Васильевич, отправились на крыльцо. Карета остановилась; два худощавые лакея в поношенных серых ливреях и совершенно измятых треуголках быстро соскочили с запяток и стали по обеим сторонам дверцы. «Ну, Евсей! Андриян! Ах, какие вы!» – послышался пискливый, резкий женский голос из кареты. Дверца отворилась, и подножка, стукнув восемь раз, образовала пеструю лестницу такой вышины, какой с тех пор не удавалось мне видеть ни при одном экипаже. «Ах! Павел Ильич, ком ву зет!»[13] – послышался тот же голос. «Сейчас, матушка. Дай хоть ноги расправить, а то вот тут Аполлоновы книги в коробке». – «О, ком ву зет!» В это время седой

старичок в коричневом сюртуке, круглой шляпе, белом галстуке, с огромной махровой манишкой, наподобие цветной капусты, и с синим клетчатым платком в правой руке, поддерживаемый двумя лакеями, начал, спотыкаясь, сходить по ступенькам. «Вот и дядюшка Павел Ильич!» – сказал батюшка, обращаясь ко мне. Я подошел к руке. «Прошу полюбить», – сказал Павел Ильич, целуя меня в голову. «Да какой он у вас молодец!» Вслед за дядюшкой свежая и проворная старушка лет шестидесяти, без помощи лакеев, смело сбегала по ступенькам и бросилась попеременно осыпать частым рядом поцелуев батюшку, матушку и меня, приговаривая: «О! о! мон шер – о! о! ма шер – о! о! мон шер...»[14]

Тетушку я знал еще прежде. Ее живое, бойкое, хотя покрытое морщинами лицо, осененное широкими блондовыми оборками чепца, большие, быстрые, голубые глаза и вся фигура составляли резкую противоположность с наружностью ее супруга, выражавшей невозмутимый душевный мир и желание покоя. Костюм тетушки никогда не изменялся: серизовое шелковое платье, красная кашмировая шаль и зеленый бархатный ридикюль. «Апишь! вене иси! – закричала тетушка, – фет вотр реверанс а вотр трешер тант; амбрасе вотр кузен». «О ком вузет эмабль!»[15] – прибавила она, обращаясь ко мне. Все общество отправи-

лось в гостиную. Казалось, как взглянуть на Аполлона – страшно! а между тем я осматривал его с головы до ног. Старше меня двумя годами, он был значительно ниже меня ростом, хотя на нем был фрак бутылочного цвета, галстук с огромным бантом и на носу огромные стальные очки. В гостиную он вошел, заложа обе руки за спину под фалды фрака, которыми болтал с самодовольным видом. «Апишь! вене иси, фет вотр реверанс!» Но это увещание оказалось совершенно излишним, потому что Аполлон, расправляя свои хитро взбитые волосы, выделывал руками, ногами и плечами какие-то ловкие штуки, что меня бросало в краску от зависти. Между старшими начались разговоры. Я сел подле Аполлона. «Где вы намерены служить?» – спросил он. Я отвечал «не знаю» и сделал ему также вопрос. «Разумеется, в гусарах», – отвечал Аполлон и при этом так торкнул ножкой, что я не мог не видеть в нем будущего гусара. «Апишь! вене иси!» – раздался снова голос тетушки. «Вера Петровна! дай, матушка, хоть с дороги-то отдохнуть ребенку. Пусть познакомится с двоюродным братцем; пойдут погуляют». – «О! о! Это правда, это правда!» Но едва мы дошли до дверей гостиной, как снова раздалось: «Апишь! вене иси!» «Василий Васильич, а какво успеваает ваш ученик?» – «Весьма порядочно», – отвечал, поклонившись, Василий Васильевич. «О-о! я знаю, он фило-

соф! Вене иси!» Это относилось уже ко мне. Я подошел, робко смотря на тетушку. «Чем ты хочешь быть?» – «Не знаю». – «У, у! мон шер, как это можно? хочешь быть профессором?» – «Нет!» – «У! у! каков? А доктором?» – «Нет». – «Почему?» Я не знал, что отвечать; но, подумав, сказал: «Мне не нравится». – «Почему?» Я молчал. «Почему?» Ни слова. «Да отвечай же, когда тебя спрашивают!» – заметил батюшка. Я не люблю докторов», – произнес я шепотом и почти заплакал. «Ха, ха, ха! О! о! ком иль э костик!»[16] Совершенно растерявшись, я отошел от тетушки, ища предлога ускользнуть из комнаты, где каждую минуту меня ожидали испытания подобного рода. К счастью, Аполлон вывел меня из затруднительного положения, выскользнув за дверь. Я с радостью побежал за ним. Не отстал и Василий Васильевич. «Аполлон Павлыч! не угодно ли вам взглянуть на нашу классную и на спальню братца, где для вас приготовлена кровать?» – «Нет, насчет книг не беспокойтесь; мне и свои надоели, а вот комнату посмотрим». Мы вошли в так называемую детскую. Высокий, худощавый лакей, с багровым носом, таскал узлы, коробки с книгами и чемоданы, размещая их вокруг постели, назначенной Аполлону Павловичу. «Андрян! а какое ты мне на завтра платье приготовишь?» – «Синий фрак, желтую пикейную жилетку», – проговорил худо-

щавый лакей скороговоркой, встряхивая обеими руками несколько засаленные борты своего длиннополого сюртука, как бы желая придать им этим движением более свежий вид. «Вот еще что выдумал! Приготовь черный фрак с белыми брюками и белую жилетку». – «Маменька так приказывать изволила». – «А я тебе говорю: этого не будет». – «Апишь, кеске ву фет?»[17] – раздался голос тетушки, почти вбежавшей в детскую. «Андрян! – прибавила она шепотом, – что вы будете играть завтра?» – «Что прикажете-с, – отвечал щавый, не встряхивая на этот раз бортов сюртука. – Из «Слепых» можно-с, из «Калифа Багдадского-с». – «Апишь, кеске ву фет?» – «Я не надену синего фрака. Это бог знает что!» – «Парле франсе. О! о! ком ву зет!»[18] Несколько минут продолжался спор и кончился тем, что Аполлон таки наденет черный фрак.

Не только в первый день знакомства с Аполлоном, но во все время пребывания тетушки у нас я по возможности старался не попадаться ей на глаза. Наступил торжественный день именин. С утра Аполлон Павлович занялся туалетом. Когда принесли ему чаю, а мне молока, он уже спросил визгливым дискантом: «Андрян! а что ж Евсей не идет?» – «Сейчас, сударь; пошел в кухню, щипцы под плиту положить. Одолжите, если милость ваша будет, – прибавил Андрян, обращаясь к Василью Васильевичу, – бумажки». Васи-

лий Васильевич, спрося, годится ли писаная, вручил ему старую тетрадь чистописания, на которой огромными буквами были изображены мнения Платона об ученых. Вошел Евсей, с гребенкой, заложенной за правое ухо. Порванные на клочки философские изречения в полчаса превратили голову Аполлона в какого-то бумажного дикобраза. Отлучившийся Андриян возвратился в щипцами в виде ножниц, с разрезанной иглой на концах. Началось припекание. «Евсей, ты подпалишь!» – «Не извольте беспокоиться. Семь лет выжил на Зубовском бульваре. Как еще маменька изволили жить в Москве, так всегда на балы убирал». Над прической Аполлона Евсей точно доказал, что не даром жил на Зубовском бульваре. Черный фрак, золотые очки, белый галстук, такие же панталоны и жилет придавали кузену вид не только зрелого, но даже бывалого человека. Недоставало одного: оказалось, что, несмотря на вершковые каблуки, он далеко ростом не вышел. Часам к одиннадцати кузен осмотрелся со всех сторон между двумя зеркалами и остался совершенно доволен. Мы отправились в гостиную.

Там все приняло вид еще более торжественный, чем накануне. Белые чехлы сняты. Светло-вишневый штоф мебели так и кидается в глаза. Блестящие атласные драконы по матовому полю были вытканы так живо, что мне страшно было садиться на кресла, у ко-

торых на каждом грозное чудовище приходилось на самой середине. Гостей всех родов и видов уже было довольно, начиная от девиц весьма ловко увитых воздушными шарфами, до Константина Исаевича, в светло-зеленом фраке с ясными пуговицами, подъехавшего на козлах тележки, в которой сидела его супруга, не к крыльцу, а прямо к конному двору. Дядюшка Павел Ильич явился тоже в полном блеске. Желтое лицо его еще более озарилось свойственною ему доброй улыбкой, хотя вся особа выражала сознание собственного достоинства. Галстук и пикейный жилет были на нем, если это возможно, еще белей вчерашнего: брижи еще махровее и пышнее. Черный фрак на дядюшке был щегольской; в правой руке, вместо синего клетчатого, развевался белый платок. Однако ж можно было заметить, что художник, делавший фрак, не постиг искусства вгонять платье в талию: поэтому между поясницей и длинными фалдами фрака оказывался значительный просвет. Этому, правда, много способствовал большой живот Павла Ильича, несколько не соответствовавший его худому лицу и слабым ножкам, заставлявший его, пошатываясь с ноги на ногу, сильно отклонять верхнюю часть тела назад. Дядюшка, как уже замечено, был исполнен собственного достоинства, поэтому несколько длинные и слабые руки его, предоставленные собственной тяжести,

качались вместе с фалдами позади корпуса, уклонявшегося на каждом шагу от прямого направления. Когда Павел Ильич входил таким образом, нижний конец платка в правой руке выписывал по полу самые затейливые извивы. После завтрака началась выводка лошадей. Доезжачий, татарин, приводил двух новокупленных польских выжловок[19]. Собаки были подмазаны, и по бесцеремонности, с какой он тыкал раздвинутой пятерней в их грязную шерсть, приговаривая: «Сама, бачка, камышница, из булоти звир гонит», заметно было, что сегодня, на радости, он забыл закон Мухаммеда. Костюм тетушки остался тот же, что вчера. Впрочем, это не беда. Все знали ее – знали, что у нее и у Павла Ильича отличное состояние, и все привыкли уважать ее. На Аполлона она смотрела с явным восторгом – и не без основания: встряхивая завитой головою, он раскланивался до того вертляво и развязно, что батюшка даже взглянул на него как-то странно, как бы желая сказать: «Ах, господи более мой!» Я очень хорошо понимал, почему Аполлон предоставил мне полную свободу принимать приезжих сверстников: неприлично же было ему вязаться с детьми в полуфрачках с отложными воротничками и которым, вдобавок, дают молоко вместо чая. Расшаркавшись, он так же ловко стал обращаться с любезностями то к одной, то к другой девице, выбирая, как мне пока-

залось, преимущественно тех, которые были целою головою выше его ростом. Видно было, что девицам весьма неловко, даже досадно. Не могу умолчать об одном обстоятельстве, врезавшемся мне в память. В числе гостей была приезжая из Москвы, полная, пожилая дама с дочерью, очаровательной блондинкой лет шестнадцати.

– Сестра Марья Ивановна, – сказал батюшка, взяв меня за руку, – позволь сыну моему поцеловать твою руку. Лиза, – прибавил он, обращаясь к блондинке, – вот твой троюродной брат.

Какое свежее, светлое создание была Лиза! Как воздушно окружали ее детскую головку роскошные кудри пепельного цвета! Сколько изящной чистоты было в разрезе ее карих глаз, осененных длинными, темными ресницами! Лиза посмотрела на меня так бойко и в то же время так приветливо, что, при всей моей застенчивости, я подошел и поцеловал ее руку – Даже с удовольствием. Расточая то перед одной, то перед другой девицей любезности, Аполлон обратился наконец и к Лизе. Не знаю, что он сказал ей, не слышал также, что она отвечала, но я видел, как она взглянула на него своими бархатными глазами и как эти глаза потом, казалось, забежали под опущенными ресницами, ища уклониться от его взгляда. Аполлон закинул голову, заложил руки под фалды фрака, круто

повернулся на каблуках и отошел.

Между тем время приближалось к обеду. Во всю залу накрыт был стол; в столовой накрыли тоже. Незадолго до обеда, взглянув нечаянно на дверь, я увидел буфетчика Аристарха, делающего знаки головой, чтобы я вышел из гостиной. Выхожу.

– Что тебе нужно?

– Батюшка барин, пожалуйста на единый момент в буфет.

Мы вошли в буфет.

– Доложите, батюшка, папаше, не прикажут ли они взять Петрушу Шанинского да Семена Буркинского?

– Зачем?

– Прислуги за столом совсем мало.

– Как мало?

– Да наших-то всего двенадцать человек: на два стола повернуться нечем. Оно точно, тетенькины за задним-то столом прислужить могут, да при большом-то, как им угодно, совсем мало. Жаркое хоть не подавай.

– Да неужели двенадцать человек не могут подать жаркого?

– Никак невозможно-с. С жарким на два блюда под телятину да под дичь надо четырех, под салат да под огурцы, под яблоки да под груши, под барбарис да под пикули, под вишни да под крыжовник – извольте сами

считать, хоть на две руки пустить, на одну сторону четыре да на другую четыре – восемь, вот и все двенадцать, а с атаманским и идти некому. В столовую-то я хоть Якова Петровича казачка с огурцами да с салатом пушу; а ведь тут, сами изволите знать, на чисто-ту-с.

Вполне убежденный, я отправился к бабушке. Наконец обе половинки дверей из гостиной отворились, и гости пошли к столу. Не скажу ничего о горячих, холодных, соусах, рейнвейне, портвейне, мадере, грушовке, вишневке, сливянке, терновке и проч.: все это было, как следует; не повторю ни одной поздравительной речи, но не могу пройти молчанием сюрприза. Затежник, любезный сосед Яков Петрович, не упустил случая дать волю своему изобретательному уму. В ту минуту, когда лысый судья привстал и произнес: «позвольте поздравить вас», оглушительный залп раздавался под самым окном. Яков Петрович велел шестерым стрелкам прийти из его деревни, зарядить двойными зарядами и под окном, во время обеда, дожидаться, пока он махнет платком. Когда общее внимание обратилось на красноречивого оратора, никто не заметил, как Яков Петрович подскочил к окну и махнул платком. Дамы ахнули, некоторые мужчины засмеялись, а более всех смеялся сам Яков Петрович, показывая горстью то количество пороха, кото-

рым приказал зарядить ружья. Между тем овальный стол в гостиной перед диваном устали всевозможными плодами, созревшими в саду и оранжереях или сохранявшимися с прошлого года. Подали свечи. Я ушел посмотреть, что делается в других строениях. Перед флигелем стояли телеги, наваленные перинами, подушками, одеялами, коврами и прочими постельными принадлежностями. Домашнего запаса этих вещей, по расчету, хватало в доме только для дам, а для мужчин посылали просить у соседей. В бане тоже светился огонь. Я побежал в баню. Там, без церемонии, в прибаннике настлали сена и накрыли его простынями, приложив подушки рядом к стене.

– Пожалуйте-с, – вскрикнул вбежавший в баню лакей, – насилу вас отыскал. Весь сад выбежал, был на конном дворе, во фигурах-с – нигде нет-с. Пожалуйте; мамаша изволят требовать-с.

– Зачем?

– Не могу доложить-с. Вариятно, танцыи будут-с.

В передней я уж услышал музыку, а вошед в залу, увидел одну из девиц за фортепьяно и судью, из всей силы водящего смычком по пробке с донского. Полновесная тетушка, Марья Ивановна, подошла к фортепьяно.

– Пожалуйста, не торопитесь, я вам буду такт бить. Повторите еще раз. Венгерку-то вы так играете, а вот

как начнете «Возле речки», все торопитесь.

Заиграли венгерку и затем «Возле речки».

– Ты все бегаешь! – сказала матушка, обращаясь ко мне, – мальчик в двенадцать лет не может минуты пробыть с гостями! Право, я от стыда не знаю куда глаза девать.

– Ну теперь можно, – сказала Марья Ивановна так громко что ее услышали даже бывшие в гостиной.

По этому слову все общество вошло в залу и усе-лось вдоль стен. Дверь из внутренних комнат отвори-лась, и Лиза легка и нарядна, как бабочка, с сереб-ряными гремушками в руках, влетела в залу. Веселая улыбка озаряла ее свежее лицо. Мое, вероятно, вы-разило удивление и удовольствие, потому что Лиза, взглянув на меня, еще веселей улыбнулась. Не буду описывать смелой, ловкой пляски Лизы. На каждый такт отзывались ее серебряные гремушки, и каждый такт давал ее кудрявой головке новый, изящный по-ворот. Но вот она остановилась среди залы, присе-ла и побежала вон. Заиграли «Возле речки». Лиза во-шла снова. Вместо гремушек в руках у нее газовый шарф. Из проворной бабочки она снова превратилась в ту скромницу, у которой я в гостиной поцеловал руку. Глаза ее снова не смотрели ни на какой определен-ный предмет, а из-под опущенных ресниц проливали на все свои кроткие лучи. Все движения были плавны

и как будто робки.

Мне казалось, Лиза высказывала ими то пугливое чувство, которое шевелилось во мне. Я покраснел. Музыка умолкла. Лиза побежала обнимать матушку.

Раздались возгласы одобрения. Вертлявый старичок, в коротком сером казакине, кричал громче всех.

– Вот пляшет! вот так пляшет! – говорил он, обращаясь к Марье Ивановне. – Уж точно, что можно сказать...

– Полно, кум! – прервал его батюшка, – полно.

– Как? как? Я только говорю: уж точно...

– Полно, полно! Вот взялся не за свое дело. Поверь мне, завтра ты не будешь так кричать.

– Виноват, виноват... ха, ха, ха! Есть немножко... – сказал вполголоса старичок и исчез.

В залу вошел лакей, неся небольшой столик, который он, к немалому недоумению присутствующих, поставил посреди комнаты. Вслед за ним вошел Андриан с двумя скрипками в руках и свертком нот под мышкой.

Хотя на нем был тот же долгополый, серый сюртук, но ни в каком костюме не мог бы он быть величавее, как в настоящую минуту.

– Апишь! комансе[20], – послышался голос тетушки.

Аполлон Павлович подошел к столу и взял скрипку.

– Что? настроена? – спросил он.

– Как же-с, не извольте беспокоиться: во флигеле строил, да еще в сенях подстраивал.

Начался концерт. Боже! какое торжество! С каким искусством нарезывал кузен продольными штрихами по визгливым струнам в то время, как Андриян, самодовольно выбивая такт левой ногой, только переваливал смычок справа налево волнообразным движением руки. Я просто не взвидел света. Не знаю, что играли: из «Слепых» или из «Калифа Багдадского». Взгляну украдкой на тетушку Веру Петровну – в глазах ее торжество; взгляну на матушку и, кажется, читаю в глазах ее укоризну. Кажется, все гости с сожалением смотрят на меня, а вот, никак, и Лиза тоже взглянула. Слезы, закипев в моем сердце, хлынули к глазам. Подкравшись к дверям, я выскочил во двор и, задыхаясь, побежал в сад по мрачной аллее.

III. Мизинцево

– Матушка Вера Петровна, – сказал дядюшка Павел Ильич за вечерним чаем, на третий день после именин, – приказала ты Глафирке укладываться? Завтра нам надо пораньше выехать. Загостились. Пора и в Мизинцево.

– Это правда, – отвечала тетушка, – надо Апише заниматься.

– Ты лучше скажи: собираться в Москву.

– О, ком вузет север[21], Павел Ильич!

– Нет, матушка, знаю, что ты женщина умная, воспитанная, а все-таки женщина – мать. Тебе жаль расстаться с Аполлоном, да делать нечего. Теперь век не тот стал: без университета никуда. Ведь служить ему надо.

– О, ком де резон![22]

– Ну, так куда ни сунься: в штатскую...

– Фи, мон ами! кескесе?[23]

– Ну да и в военную тоже. Хоть ты и воспитала его дома, но что ж, когда требуется? Надо, надо; да и времени тратить не к чему. Ему скоро пятнадцать; скажу – греха на душу возьму, – что шестнадцать. Ведь один сын...

– А по-моему, – заметил батюшка, – в Москву ехать

и в университет готовить надо, а лет прибавлять не следует. До двенадцати вовсе не учить, а там силы укрепятся – учи... Вот и моего бы надо в Москву, да мне некогда: ты знаешь мои занятия.

– Брат! – сказал дядюшка, – знаешь что? Буду говорить по-родственному. Сына твоего пора вести, сам ты говоришь. Тебе некогда, а я еду. Буду я жить в Москве домом. Я уже писал к княгине Васильевой, чтоб она приказала дворецкому сыскать мне дом, хоть и подальше от города, да попросторнее. Она уж знает мой вкус. Кто держит экипаж, тому все равно где ни жить; а я не хочу, чтоб сын мой, таскаясь каждый день пешком на лекции, камни-то гранил. Будет сыну место, будет место и племяннику, а там сочтемся.

– О, ком се бьен![24] – воскликнула тетушка.

– Так скоро? Как это можно! – с испугом сказала матушка.

– Да так-то можно, – перебил батюшка, – что я, брат, принимаю твое предложение с благодарностью. Ты знаешь меня: что сказано, то свято. А там себе хоть утушку пой. Нет, нет, нет! без торгу, без торгу!

Я робко взглянул на матушку; она смотрела на меня. Сколько нежности, сколько горячей любви было в этом взоре! Моя лень, неспособность – все забыто: у нее хотят отнять сына!

– Все это хорошо, брат Павел Ильич, да одно меня

затрудняет. Ты знаешь, я взял в дом сироту, Сережу: куда я его дену? Я хотел и его приготовить в университет.

– Что ж? – сказал дядюшка, – начал доброе дело, так и кончай. Прямо тебе говорю: я люблю умных детей. Давай и Сережу свезу, а там сочтемся.

– Ну, так решено! Ты когда едешь в Москву?

– Через месяц.

– Так неделки через три мы приедем к тебе с женой да и привезем обоих молодцов.

На другой день желтая карета и троечная бричка уехали. Начали хлопотать о нашем отправлении в Москву. Матушка до того изменилась в отношении ко мне, что просила даже Василья Васильевича, оставшегося до последней минуты в доме, не слишком обременять ребенка. Легавые поступили в мое полное распоряжение, и я их прекрасно выездил тройкой. Обращение батюшки было то же. Мне кажется, этот человек во всю жизнь ни разу не изменил своей роли. Замечая иногда следы слез на глазах матушки, он всегда говорил: «Что это? сынка жаль? Нет, нет, это не моя метода любить. Нет, нет, нет! По-моему, поезжай себе хоть в Америку, да будь счастлив». Дни летели – по крайней мере для меня. Вот и голубую карету людьми подкатали под крыльцо. В девичьей Аннушка укладывала в вояжи мое и Сережино белье.

Вот уже и каретные лошади пошли на постоянный двор на подставу. Рано поутру на другой день мы выехали. «Пиши, мой друг, нам почаще. Все пиши, что с тобою делается. Утешай нас!» – говорила матушка дорогой. «Охота тебе, право, – перебил ее батюшка, – говорить напрасно. Он и в самом деле подумает, что мы его просим. По-моему, сказано писать, так и будет писать – вот и конец. Нет, нет, без торгу, без торгу! нет, нет, это не моя метода!» Жаль мне было расставаться с родителями, но в это чувство подмешивалась бессознательная радость птицы, которую выпускают на волю.

Солнце садилось, когда мы въезжали в Мизинцево. Последние лучи ярко играли на окнах крестьянских изб, весело выглядывавших из-за кудрявых ракушек. На многих кровлях виднелись белые трубы. На все село разносилась по заре звонкая песня жниц, возвращавшихся с поля. У самого въезда на барский двор, на выгоне, стояла церковь, окруженная березами и новым зеленым забором. Видно было, что кровля храма подновлена недавно. Золотой крест, озаренный последними лучами заходящего солнца, как яркая звезда, горел на стемневшем небе. По правую сторону за сверкал широкий пруд. Вот наконец господский двор и дом. Собаки залаяли, дворовые люди и девки зашныряли по разным направлениям – мы приехали. Та же радушная встреча со стороны флегматическо-

го дядюшки, тот же град поцелуев живой и вертлявой тетушки.

– Вене дан ма шамбр, мез ами[25].

– Что это ты, матушка, все по углам любишь сидеть! Пойдемте лучше в гостиную.

– О, Павел Ильич! пойдём ко мне, а там уже в гостиную.

Тетушка бежала впереди нас по длинному и темно-му коридору. «Ментенан вуз але ше муа»[26], – сказала она, отворяя дверь и вводя нас в небольшую комнату, где уже горели две сальные свечи. Подали чай.

– Да какой ты, брат, – хозяин! – заметил батюшка, – на твою деревню любо посмотреть. О! о! мон фрер! ком ву зет костик![27] Да он никогда, ничего не делает.

– Толкуй, толкуй, сестра! Отчего же мужики-то так исправны? Ведь ты тоже полевым хозяйством не занимаешься.

– Да и я-то, брат, – процедил сквозь зубы Павел Ильич, – да и я-то ничем не занимаюсь. Земли у них довольно, лес под боком, строиться есть чем, люди мастеровые есть: отчего же им быть неисправным? Вот еще вчера приходил Фома да и говорит: «Нельзя будет в Москву ехать». – «Почему?» – «Да передняя ось в городских дрожках лопнула». Ты знаешь, брат, я ведь на своих в Москву поеду, да и дрожки, со мной пойдут. Вот я и говорю: «Лопнула ось! Что ж делать?»

Не в город же посылать». – «Да нельзя ли, – говорит Фома, – к Яшке Мосинову на деревню свезть: он кузнец, говорят, хороший». Что ж ты думаешь, брат? Сварил ось, а я ему полтинничек в руку. Так как же им не жить-то хорошо?

Между тем я рассматривал тетушкину комнату. Особенного порядка в ней не было. На комодѣ стоял порожний графин, на столике валялась книжка, на одном из диванов разбросаны принадлежности женского туалета, и на них сидела премилая белая кошка.

– Иль се дансе, – сказала тетушка, обращаясь ко мне. – Регарде[28]. У! у! кошка-капошка, монтре ла ланг[29]. (К великому удивлению моему, кошка открыла рот и высунула свой тонкий розовый язычок.) Вене иси. (Кошка соскочила на пол.) Дансе, дансе![30] И кошка, поднявшись на задние лапы, ловко начала вертеться, как бы вальсируя. Несмотря на забавное искусство кошки и живой разговор между большими, мне все-таки было жутко в комнате тетушки. При живости ее характера и страсти экзаменовать, того и гляди, оборотится ко мне с вопросом. Дотянув кое-как до десяти часов, я, под предлогом усталости, подошел к рукам и отправился спать. Занялась ли тетушка ролью хозяйки дома, или на нее подействовал предстоящий отъезд сына, но на другой день она предоставила нам почти полную свободу, сказав не

более пяти раз: «Апишь, вене иси» и «кеске ву фет?» Проснувшись, по привычке, довольно рано, мы с Сережей успели обегать весь дом и сад. В саду не нашлось ничего особенного. Старые фруктовые деревья – и только; но зато наружная и внутренняя физиономия дома представляла такую противоположность со всем, до той поры меня окружавшим, что врезалась в моей памяти до малейшей подробности. Снаружи двухэтажный деревянный дом, обшитый и покрытый тесом, имел вид огромного желтого тюка. Никакого архитектурного украшения, ни одной пристройки во двор или в сад. С первого взгляда даже легко было не заметить единственной двери у левого угла, черневшей под небольшим навесом, подобно старушке с зонтиком на глазах. Более всего удивило меня, как не падал этот огромный тюк на правую сторону, в которую значительный наклон его с первого раза бросался в глаза. Но как описать впечатление, произведенное на меня внутренним расположением и обстановкою комнат? Собственно жилые покои, выходящие дверьми на знакомый нам узкий и темный коридор, занимали с небольшим одну треть дома; вся же остальная его часть занята была парадными комнатами. «Вот гроб-то!» – воскликнул Сережа, когда мы вошли в залу. То же можно бы сказать и о всех парадных комнатах, почти совершенно пустых, пото-

му что расставленные вдоль стен старинные стулья да в простенках полинявшие столы красного дерева с бронзовыми полосками вдоль ножек совершенно исчезли в огромных покоях. Вследствие заметного наклона дома на правую сторону окна и простенки дверей перекошились, а самые двери, цепляясь за пол, не могли свободно отворяться. Нижние венцы капитальных стен, вероятно, подгнили, отчего ближайшие к ним половицы представляли крутой спуск, по которому подходящего тянуло к окну, как шар на трактирном бильярде в лузу. Оконные рамы были совершенным подобием гильотин, и на каждом окне стояла деревянная подставка в виде ружья. В диванной, в гостиных – словом, во всех комнатах поражала та же пустота. Как-то не верилось, чтоб тут жили люди, а между тем попадались и предметы роскоши. Более всего понравились мне в гостиной, на столике перед зеркалом, составленным из двух кусков, обделанных в темную раму с бронзовыми украшениями, два бронзовые шандала. На четвероугольных подножиях стояли какие-то сухопарые гении. Каждый из них держал в руках змею, весьма целомудренно обвивающую концом хвоста тело своего властителя. У змеи оказывались три головы в венцах: эти-то венцы и были подсвечниками.

– Что вы тут делаете? – спросил мелкими шагами

вошедший Аполлон, – пойдете на конюшню.

С этими словами кузен повернулся на каблуках и пошел из комнаты; мы с радостью за ним последовали. На заводской конюшне у дядюшки было много хороших лошадей. Аполлон Павлович с видимым удовольствием хвастал жеребцами, распоряжался, кричал визгливым дискантом и уверял, что, когда он будет хозяйничать, у него не будет таких сонных выводчиков, как Фомка. Возвратясь с прогулки, мы застали стариков в столовой за чаем.

– Сестра! а ему молочка, – сказал батюшка, указывая на меня.

– О, мон фрер! кескесе?[31]

– Да полно, брат, блажить, – перебил Павел Ильич. – Что ты его, как теленка, молоком-то поишь? Уж ты меня извини: в Москве молоко дорогое; там я не стану для него прихотничать...

– Да и зубы у него все переменялись, – робко заметила матушка.

– Переменялись у тебя зубы?

– Переменялись.

– Ну, теперь с богом пей чай, грызи сахар. Что нужно – дело сделано. Пусть помнит этот день.

Тетушка налила мне чаю. Это была первая чашка, выпитая мною в жизни.

– Теперь, брат, я поверю, что ты не хозяин, – сказал

батюшка, озираясь кругом. – Можно ли с твоим состоянием жить в таком доме? Право, я боюсь когда-нибудь услышать, что вас с сестрой задавило.

– Эх, братец! и дед и отец жили в этом доме – даст бог, и я проживу. Что ж, по-твоему, что ли, целый век строиться? Ты о детях думаешь, а дети захотят все по своему вкусу – так ломать-то все равно, что новое, что Старое. По крайности капитал цел.

– Полно, полно, брат Павел Ильич! Разве дети смеют так думать? Да знай я, что дети так думать да поступать будут, то я имение-то вот как (батюшка щелкнул пальцами), а сам в Америку.

– И в Америку ты, брат, не поедешь, и дети подрастут, и постройки твои не годятся. Полно хмуриться! Я резонабельно говорю. Ты вот лучше порадуйся со мною; я просто клад нашел.

– Что такое?

– Нашел, братец, скрипача-учителя для Аполлона. Как там ни говори, положим, Андриян тоже три года в оркестре высидел, а главное, свой человек, да ты уж знаешь меня: для сына ничего не пожалею.

– Где ж ты достал такого скрипача?

– Постой, братец, сейчас тебе его покажу. Эй, малой! (вошел слуга). Позови сюда Ивана. Анекдот, братец, анекдот. Насилу уломал да упросил. На днях ездил я в губернию хлопотать о свидетельстве сыну.

Скоро сказка сказывается, да не скоро делается. Вот, живу я на квартире, а по делам-то пустил Лычкина Якова Иванова.

– Знаю, знаю. Нашел человека!

– Я и сам-то, братец, знаю, да малой-то ловкий: всю подноготную раскопает. Раз, вечером, сидит он у меня за чаем; я ему ромку. «Вот, – говорит, – Павел Ильич, ром так ром! Вчера у Милованова купца на аменинах такой же подавали-с. Уж точно что, – говорит, – попи- ровали; и танцы, дескать, были. Да какой же разбе- довый скрипач там был – так я вам доложу-с. Игра- ет вальсы, экосезы – ну там все этакое-с. А тут при- станет к нему Милованов: «А ну-ка, брат Иван, загони корову». Как же вы, благодетель мой, изволите пола- гать-с? Заиграл «Ты поди, моя коровушка, домой», да смычком-то, и попереди-то, и позади-то подставки, и давай катать... Истинно мастер-с! Скрипка-то у него нетокма воротами скрипит, коровой, батюшка Павел Ильич, коровой ревет-с». Я, братец, как вспомнил про сына, так даже слеза прошибла. Всегда думаю, кому бы усовершенствовать Аполлона. «Любезнейший, – говорю, – Яков Иваныч! Чей он человек? Нельзя ли его как-нибудь ко мне? Ничего не пожалею». – «Я, – говорит, – с ним завтра переговорю; а человек он, – говорит, – вольный и живет у откупщика». На другой день, поутру, является Лычкин. «Привел», – говорит.

Входит мужчина здоровый, в синем сюртуке, в полосатой гарусной жилетке. Волосы черные как смоль, лицо смуглое, рябоватое; нос красный. «Как тебя зовут, любезнейший?» – «Иваном». – «А что, Иванушка, много ли ты у откупщика получаешь?» – «Семь рублей». – «Как же тебе, братец, с таким талантом семьто рублей получать? Какие это деньги, семь рублей? Поди ко мне, я тебе десять дам». Чего ж ты, братец, думаешь? «Мне, – говорит, – не деньги дороги, а дорога честь!» А? Толковал, толковал... взял меня за-дор. «Возьми двадцать пять». – «Не хочу, – говорит, – в деревне век коротать – не компания», – говорит. А? «В Москву со мною поедешь?» – «Это, – говорит, – дело другое, извольте». Одним, братец, нехорош...

В эту минуту дверь в столовую отворилась, и на пороге появился человек, в котором я, по описанию дядюшки, узнал Ивана.

– Ну, что, брат Иван, каково поживаешь?

– Слава богу, помаленьку, Павел Ильич.

– Славный человек! – сказал дядюшка, обращаясь к батюшке. – Мастер своего дела. Одним, я тебе говорю, беда. Вот, как видишь, мог бы, кажется, и человеком выть, да откупщик погубил. Волей-неволей мораль нагнал. Теперь с хмельным не расстанется, а кажется, На что хуже этой морали! Совсем откупщик до-конал.

Покрытое спиртовым лаком лицо Ивана приняло смиренное выражение невинной жертвы откупщика.

Так, или почти так, прошли немногие дни пребывания нашего в Мизинцеве. Привыкнув дома если не к роскошной, по крайней мере к свежей и вкусной пище, я почти не мог есть хитрых, несъедомых блюд тетушкина повара. Хотя батюшка дома за обедом постоянно утверждал, что человек ест для того, чтоб жить, а не для того живет, чтоб есть, однако я заметил, что, под предлогом нездоровья, он не пил за столом обычных двух рюмок белого вина, хотя на бутылке стояло «го-преньяк». Домашний костюм тетушки был еще вроде парадного. Кашмировая шаль заменялась клетчатым платком, блондовый чепец – колленкоровым, шелковое платье – холстинковым, с совершенно гладкими рукавами, наподобие мешочков; ситцевый ридикюль довершал убранство. Во время пребывания нашего в Мизинцеве дядюшка не являлся иначе как в коричневом сюртуке и белой манишке. Эту форму он, видимо, возлагал на себя ради матушки. Обегая все закоулки, я уже успел получить от тетушкиной Глафиры, горничной бывалой, предварительные сведения о Москве.

– Батюшка барин, золотой вы наш, позвольте поцеловать драгоценную ручку. Не бойсь, вам, барин голубчик, трудно с мамашей-то расставаться. Зато Ге-

нералом, батюшка, мы вас увидим. В Москву изволи-те ехать. Ведь это не нашим городам чета. Господи! чего там только нет? Только отца да матери не найдешь, а только чего душеньке угодно. Киятры, комедии, лиминации, а в публику выйдешь – один одного именитей. Там и нашу-то сестру часом с барышней не распознаешь.

Не буду описывать сборов в дорогу и последних минут прощания. В первой юности воображение так рвется вдаль, жизнь обещает так много, а часто окружающие так мало умеют приворожить нас, раззолотить родимое гнездышко, что многие легко из него вылетают. Хорошо еще, если жизнь, унося нас все далее и далее, в состоянии окружить это гнездышко прелестью невозвратно минувшего. Но если тяжело оглядываться, тогда человеку придется сказать себе: «у меня не было детства; авось-либо впереди будет то, чего так жадно хочется...» В дорогу, в дорогу!

IV. Москва

Вот мы наконец и в дороге. Дядюшка, Аполлон, Сережа и я в желтой карете, Евсей с Фомой на козлах, Иван на дрожжах парой, а сзади повар в кибитке тройкой. Чего там нет, в этой кибитке! Постели, чемоданы, сундуки, книги, ноты, колотого сахару пуда два, чаю фунтов шесть. Я сам слышал, как тетушка обещала дядюшке присылать аккуратно через каждые три месяца в Москву колотый сахар, чай и вино. «Я знаю, Павел Ильич, ты не экономай, предоставь это мне». – «Делай, матушка, как хочешь». Хотя Глафира и говорила: «Люди из Москвы провизию возят, а мы в Москву», но тетушка не слыхала этого замечания; поэтому кибитку нагрузили так, что повару и сесте было негде. Ехали мы не шибко, станции делали большие. Дядюшка почти во всю дорогу дремал, пошатываясь со стороны в сторону и значительно выставляя нижнюю губу. Мы с Сережей болтали всякий вздор. Аполлон нередко тоже не выдерживал роли, принимая участие в нашей болтовне. На постоянных дворах я, со свечкой в руках, осматривал все картины и надписи на дверях и окнах. Местах в, трех читал: «Мы приехали в Калугу к любезному другу», раз пять видел тех же витязей, с красными поводьями в руках, топчущих без жа-

лости целые армии. Иван появлялся иногда с пылающим носом и был до того несговорчив и резок в ответах, что дядюшка оставил его совершенно в покое. На шестой день, часу в двенадцатом, Евсей, обернувшись на козлах, постучал ногтями в передние стекла. «Что там такое?» – спросил проснувшийся дядюшка. Я опустил стекло. «Что тебе надо?» – «Москва показалась, сударь!» При этом известии все встрепенулись и высунули головы из окон. Напрасно кричал дядюшка: «Дети, упадете! Садитесь по местам!» – ничего не помогало. Я действительно упивался безграничной панорамой белого города и яркими звездами золотых глав, разбросанных по горизонту. «Сережа! А, а?!» – вскричал я невольно. «Да...а...» – отвечал Сережа, не отрывая глаз от чудной картины. Воображению представился полный простор. Среди белого дня сбывалось все, что когда-то смутно представлялось. «Неужели я еду туда, вон туда, где так хорошо!» «Гаврюшка, трогай!» – закричал Фома с козел. Карета покатила резвей, и поднявшееся облако пыли заслонило чудную картину. Гораздо слабее было впечатление, произведенное на меня самим городом. Мне как-то странно было видеть почти такие же улицы, какие я видел в губернском городе. Те же будки и будочки, те же фонарные столбы и тротуары. Мостовая так же беспощадно тряска. Где же тот сказочный, волшеб-

ный мир, о котором я мечтал?.. Верно, впереди!

Но я ожидал напрасно. После долгого путешествия, по улицам, заворотов направо и налево в переулки, поезд наш остановился. «Евсей! что ж ты сидишь? – закричал дядюшка, – слава богу, не в первый раз. Слезь с козел да позови будочника. Нам нужно на Арбат. Разве не видишь, что приехали?» «А где, братец, дом купца Желтухина?» – спросил дядюшка у подошедшего часового. «Первый переулок направо. Направо будет дом с белыми столбами, а налево, на-супротив, большой, серый, деревянный дом – он и есть».

Поезд тронулся, и минут через пять мы были уже в новом жилище.

– Спасибо, спасибо княгине, – приговаривал дядюшка, пошатываясь по комнатам. – Как раз по моему вкусу. Завтра же поеду благодарить ее. Лакейская с буфетом. Зала хоть кому; мне кабинет, Аполлону комната и тебе (то есть мне) с Сережей; а вот тут пускай хоть классная будет. Да, главное, лестницы нет. При-знаюсь, терпеть их не могу.

На другой день все пришло в порядок, и мы расположились по желанию дядюшки. Часу в одиннадцатом запрягли лошадей. Дядюшка вышел из кабинета в черном фраке, с медалью, махровом жабо, со шляпой в одной и белым платком в другой руке.

Домашние дрожки задрезжали по мостовой, и Павел Ильич уехал.

– Ну, Аполлон Павлыч, – сказал он, воротившись часу в третьем, – собирайся, братец, завтра с визитами, а я уже половину экзамена твоего выдержал. Правду говорят, не имей сто рублей, а имей сто друзей. И тебя, племянничек, не забыл. Завтра же явятся учителя. «Сколько, – говорит, – вам нужно и каких?» – «Всяких, – говорю, – присылайте, только подешевле».

Целый месяц дядюшка, несмотря на свою лень, почти ежедневно возил Аполлона на экзамены, и нередко, по озабоченному лицу его, я подозревал, что дела идут не слишком хорошо. Но зато как описать общую радость, когда, под конец месяца, Аполлон был принят в число студентов?

– Утешил ты мою старость, – говорил ему Павел Ильич. – Да про себя я уж не говорю: мать-то утешил. Ведь она для тебя рада голодной смертью умереть. Написал я ей, сейчас же и на почту отсылаю. Сам послушай, как я ей написал:

«Любезный друг, Вера Петровна!

Поставь свечку и отслужи благодарственный молебен. Аполлон Павлыч твой – студент. Добрые знакомые поздравляют меня, а я тут ничем не виноват. Ты знаешь, человек я не ученый. Это ты всему голова. Твое воспитание – твои и успехи. Помучился, похло-

потал за это время, как тебе небезызвестно из моих писем, да теперь, на радостях, все как рукой сняло. Посмотрела бы ты на него в мундире-то! Красавчик, да и только. Повторяю мою просьбу насчет провизии. Евсей говорит, сахар на исходе. Как бы не пришлось здесь купить. Княгиня Наталья Николавна тебе кланяется. Что за умнейшая женщина! На лекции с Аполлоном ездить не буду. Он, слава богу, уж не дитя, да и лета мои уже не те».

Такая деятельность и, так сказать, прить со стороны дядюшки не могла не удивить того, кто, подобно мне, видел его ежедневно и знал его лень. Дома, утром и вечером Павел Ильич ходил в халате. Лета брали свое и час от часу заставляли походку дядюшки более и более уклоняться от прямого направления. Особенно тяжел на подъеме бывал он после ужина. Вот уж мы встали и подошли к руке, а дядюшка все еще сидит в халате. Вот убрали приборы и свечи, сняли скатерть, разобрали и унесли складной стол, а дядюшка все еще сидит на креслах, один посреди комнаты. Только две страсти могли вывести его из обычной полудремоты: к сыну и к прекрасным дамам. Как? В его лета? Да. Без этой последней черты портрет дядюшки был бы неполон. Для дам дядюшка готов был целый день не выходить из фрака, ехать в магазин, в контору театра или Собрание – словом, ре-

шиться на все жертвы, на все лишения. С ними он делался любезен и даже многоречив. Во время разговора с ними небольшие глазки его щурились необыкновенно сладко. Зато подобная преданность и любезность не пропадали даром. Дамы весьма жаловали его и, можно сказать, любили. Не говорю о княгине Васильевой: она была его давнишней знакомой, да и самые лета более сближали их, но благосклонность генеральши Н., вдовушки в полном еще развитии красоты, женщины светской, до сих пор для меня загадочна. «Здравствуйте, милый Павел Ильич! как давно вас не видала! Не стыдно ли так забывать меня?» – были постоянными словами генеральши при встрече дядюшки. Можно себе представить, с каким счастьем дядюшка целовал белую, пухленькую ручку генеральши. Если одна страсть под старость лет доставляла Павлу Ильичу так много приятных минут, зато другая – любовь к сыну – была для него источником если не ежедневных хлопот и огорчений, то, по крайней мере, беспокойства. Первым врагом домашней тишины оказался Иван. Однажды, часов в пять утра, когда все покоилось сном, раздался оглушительный гул инструментов. Спросонья никто не мог догадаться, что такое. Накинув наскоро халат, выбегаю в залу и вижу Ивана и еще какого-то человека во фризском сюртуке, наигрывающих неизвестную мне бравурную арию.

Совершенно посиневший нос и включенные волосы Ивана явно свидетельствовали о ночном гульбище. Из дверей, ведущих в кабинет, показалась седая голова дядюшки.

– Что вы тут делаете? – спрашивает Павел Ильич.

– Разве не видите что? – отвечает Иван, – разыгрываем для Аполлона-то алегру.

– А, а! ну! ну! Бог с вами! играйте, играйте!

С этими словами седая голова Павла Ильича исчезла, и дверь снова затворилась. Сколько синеньких с этого рокового утра должен был заплатить дядюшка в пользу фризového виртуоза за ноты, приносимые им Ивану! Убежденный в пользе, которую приносил Аполлону своим искусством Иван, дядюшка крайне дорожил им и готов был сносить все его грубости. Сережа первый ясно разгадал их отношения, и вот какой сцены я был однажды свидетелем.

Мы с Сережей вечером готовили на завтра уроки. Не знаю, зачем вошел к нам в комнату Иван.

– Что? Кончили сегодня? – спросил его Сережа, отодвинув лексикон Кронеберга и облокотясь на стол с самым серьезным выражением лица.

– Кончить-то кончили, да что толку-то? – отвечал Иван, махнув своей могучей рукою.

– Стало быть, ты недоволен своим учеником?

– Есть чем быть довольну! Я такой тупицы не ви-

дывал. Уж я ему сколько раз говорил: «Никакого, мол, из тебя пути не будет». Тоже свою амбицию соблюдает. Как же, студент! Какой он студент? Отец-то выплакал да вымолил – вот он и студент. Век по пачпорту хожу, такого пня не выдывал.

– А где твой пачпорт? – спросил Сережа, подмигивая мне.

– Как где? Известно где, у барина, у Павла Ильича.

– То-то и есть, у Павла Ильича! А еще артист! Вот ты по Москве ходишь; всяк тебя видит и знает, что ты артист; а могут подумать, что ты крепостной Павла Ильича. Кто ж знает, что ты вольный человек? Пачпорт у барина, так ты человек без голоса. Концерт ли где собирается – ты ничего не значишь. Пачпорта нет, так и молчи.

Опустя свои мощные руки, Иван безмолвно слушал Сережу с каким-то тупым выражением глаз. Вдруг, будто очнувшись от сна, он повернулся и быстрыми шагами вышел из комнаты.

– Настроил я его! – сказал Сережа, заливаясь со смеху, – пойдем посмотрим, верно, будет потеха.

Мы потихоньку вышли в залу. Дверь в кабинет открыта. На письменном столе горят две свечи, и дядюшка сидит, углубленный в переписку с Верой Петровной. Без всяких околичностей Иван стал против Павла Ильича и закричал:

– Отдайте пачпорт.

– Что ты, Иван? что с тобою? какой пачпорт? – возразил дядюшка.

– То-то, то-то, не знаете какой пачпорт? Что я? дурак, что ли, попался вам? Отдайте мой пачпорт.

– Что ты, Иванушка! На что тебе пачпорт?

– Отдайте мой пачпорт! Что я за человек есть без пачпорта? Да я просто никакого голоса в Москве не имею. Отдайте пачпорт!

Долго эта сцена продолжалась, к немалому удовольствию Сережи. С большим трудом успел наконец добрый дядюшка убедить Ивана, что он и без пачпорта может пользоваться в Москве всеобщим уважением.

Не одна забота на пользу Аполлона так тяжело доставалась Павлу Ильичу: удовольствия сына были для старика не последним источником беспокойства.

Приезжавшие к нам в дом с визитами были по большей части старые, короткие знакомые дядюшки и потому входили без доклада. Один из таких посетителей был генерал Морев.

– Что это вас так давно не видать, почтеннейший Павел Ильич? – сказал однажды генерал, входя. – Я уже думал, не больны ли вы?

– Присядьте-ка вот тут, ваше превосходительство. Точно, это время что-то нездоровится. Это вам, моло-

дым людям, зима нипочем, а нашему брату старику вечерние выезды зимой – просто беда. Вот с неделю уже сижу дома. Что новенького в Москве слышно?

– Да теперь все только и говорят о предстоящем торжестве и бале в Собрании. На Кузнецком от экипажей ни пройти, ни проехать. Все бросилось заказывать наряды.

– Слышал, слышал, ваше превосходительство, от сына. Не дает мне прохода: «поедем в Собрание, да и только». Что ж? грешен, люблю побаловать умных детей; да здоровье-то не позволяет по ночам таскаться. Ведь вы, ваше превосходительство, верно будете на бале.

– Непременно. Мне почти нельзя не быть.

– Вот бы истинно обязали меня, старика, кабы сына моего взяли с собой.

– С большим удовольствием. Бал послезавтра, а до тех пор я буду еще у вас.

Генерал уехал.

В доме поднялась суматоха. Студентам в то время дозволялось еще ходить в статском платье; но являющиеся в Собрание в мундире должны были быть в белых штанах, чулках и башмаках. Мог ли Аполлон отказаться от такого костюма? Привели портного; заказали платье с условием, чтоб послезавтра все было готово. Наступил желанный день. С утра несколь-

ко гонцов отправлено к портному. Дядюшка, перева-
ливаясь с ноги на ногу, в волнении ходил по зале, при-
говаривая: «А Морева-то нет! Вот подожду портного,
да и сам поеду к генералу». В первом часу портной
принес платье. «Одевайся в зале; здесь виднее, да и
зеркала такого большого нет в других комнатах», – за-
метил дядюшка. Надев бальную форму, Аполлон стал
вертеться перед зеркалом, но, по малому росту, ви-
дел только свою голову с золотыми очками на носу.

– Я хочу себя видеть, – пищал он визгливым дис-
кантом.

– Аполлон Павлыч, – заметил Евсей, – позвольте,
батюшка, я вас на стол поставлю: и вам и портному
будет видней-с.

Сказано – сделано. Увидев себя во всем блеске
бальной формы, Аполлон в восторге стал вертеть-
ся и ломаться на столе самым живописным образом.
Дверь в залу отворилась, вошел генерал Морев.

– А я только что собирался к вам, ваше превосходи-
тельство! – вскричал Павел Ильич. – Видите, мы со-
всем готовы, – прибавил он, указывая на сына.

– Вижу, вижу, – отвечал генерал, и мгновенная
улыбка, озарившая лицо его, тотчас же уступила ме-
сто самому серьезному выражению. – Я к вам на ми-
нутку. Извините, почтеннейший Павел Ильич, право
некогда.

– Ну так как же вечером-то? – спросил дядюшка, – вы заедете ко мне?

– Нет, уж извините, право не могу.

– Так я к вам привезу Аполлона, часу в одиннадцатом.

– Как вам угодно.

С этим словом Морев раскланялся и уехал. Вечером те же сборы, хлопоты, притиранья, завиванья. Подали желтую карету.

– К генералу Мореву! – закричал Евсей кучеру и, хлопнув дверцами, побежал к запяткам. Дядюшка и двоюродный братец уехали.

– Вот разодолжит генерал-то! – заметил Сережа, заливаясь со смеху. – Ты увидишь, он от него откажется.

Предсказание Сережи сбылось. Через час дядюшка привез обратно расстроенного Аполлона: генерал не поедет в Собрание. Подобных передряг было много; тем не менее дядюшка старался упрочить для нас, как он выражался, знакомство с хорошими людьми. Об одном из подобных знакомств придется говорить подробнее.

V. Княгиня Наталья Николаевна

Недели через две после того, как Аполлон Павлович поступил в университет, дядюшка объявил, что всех нас повезет к Наталье Николаевне. На другой день желтая карета, продребезжав довольно долгое время по Москве, провезла нас между двумя львами на воротах и, въехав на довольно обширный, усыпанный песком двор, остановилась у подъезда. Евсей, соскочив с запяток, побежал на крыльцо. Через минуту он воротился, подножка застучала, и мы все трое: Аполлон, Сережа и я, отправились за дядюшкой в приемную.

– Их сиятельство приказали просить в будуар, – сказал белокурый мальчик в гороховых штиблетах.

Дядюшка, взглянув в большое зеркало и увидев свое желтое, морщиноватое лицо, сделал кислую мину; зато Аполлон прищурился, поправил на носу очки и самодовольно закинул голову.

– Пойдемте, – сказал дядюшка, покачиваясь с ноги на ногу и заматаив змиеобразным движением платка свой след по паркету.

Белокурый лакей, проведя нас через ряд комнат, остановился перед небольшой дверью красного дерева с хрустальной ручкой. Мы вошли в небольшую, за-

тейливо меблированную комнату. Против дверей, на диване, лежала женщина в черном капоте и небольшом белом чепце, из-под которого виднелась черная шелковая шапочка, или сетка. Лицо ее почти прикрыто было совершенно мокрым платком, распространившим по комнате сильный запах одеколона. Княгиня (это была она) громко хлюпала, втягивая носом воздух через мокрый платок.

– А, а! Павел Ильич! – сказала она, приподнявшись с подушки и отнимая от носа платок левою рукою, между тем как правую протягивала дядюшке. – Насилу собрались.

– Позвольте, матушка Наталья Николавна, представить вам моих птенцов, – перебил ее дядюшка.

– Браво, браво! поздравляю! – сказала княгиня, обращаясь к Аполлону. – Давно ли вы, мой милый, получили известие от батюшки? – спросила она меня. – Мы с ним старинные приятели.

И Сереже была сказана любезность.

– Как здоровье Сонечки? – спросил дядюшка.

– Позвони, мой друг, – обратилась княгиня к сидевшей над чулком уединенно у окна пожилой женщине.

Если желтоватое, худое лицо княгини сохранило черты прежней красоты, то друг ее не мог этим похвастать.

Чтоб составить портрет друга, нужно вообразить

себе довольно полную женщину в шелковом капоте шоколадного цвета с двойным отливом, толстый, ис-сиза-красный нос, распространяющий какой-то лаковый блеск по угреватому лицу, открытую седую голову с зачесанными назад волосами, в виде хвостика, и приткнутыми черепаховой гребенкой на затылке, большие, подозрительно беспокойные серые глаза и довольно порядочные седые усы. Вошел лакей.

– Скажи нянюшке, чтоб она привела княжну, – проговорила Наталья Николаевна. – Я надеюсь, Павел Ильич, – прибавила она, – вы позволите вашим птенцам – как вы их называете – покорооче со мной познакомиться, если только они не будут скучать у меня.

Дверь отворилась, и княжна, в сопровождении приземистой старушки, вошла в комнату. Это была премилая девочка лет восьми или девяти. Темно-каштановые волосы, подрезанные в кружок, окаймляли ее свежее, круглое личико. В больших голубых глазах сияла не только кротость, даже застенчивость.

– Рекомендую мою дочь. Сонечка, познакомься... Сонечка! отчего у тебя глаза такие красные?

Сонечка повернула головку к матери и ничего не отвечала.

– Отчего у нее красные глаза? – обратилась княгиня к няньке.

– Изволили плакать, – отвечала нянюшка полуше-

потом.

– Опять капризы! О чем это?

Нянюшка, немного замявшись, прошептала:

– О кукле.

– Вообраззи, мой друк, – отозвалась безмолвствовавшая до сих пор вязальщица, – этто я сеегодня взялла у ннее куклу, потому что онаа вчерра все с нней воззиллась. В ейе летта... (только подобным правописанием можно несколько подражать стоккато, которым говорила вязальщица).

Девочка стояла неподвижно, глядя на мать, и две крупные слезы повисли на ее длинных ресницах. Княгиня приложила платок к носу, громко захлюпала с приметным наслаждением и махнула рукой.

– Нянюшка, – сказала вязальщица, – увведди отсюда это непослушное диття.

– Как трудно воспитывать детей! – сказала Наталья Николаевна. – У меня одна дочь, и то тяжело.

– Всякому свое, матушка Наталья Николавна. Однако ж мы у вас засиделись, – прибавил дядюшка, вставая.

– Не забудьте своего обещания: присылайте детей ко мне, обедать или вечером. Вы знаете, вечером я почти всегда одна.

Так кончился наш первый визит у княгини Васильевой. Не скажу, чтоб на первый раз она произвела на

меня приятное впечатление; особенно не понравилась мне вязальщица.

– Дядюшка, – спросил я, усевшись в карете, – кто эта дама, что вязала чулок и потом прогнала Сонечку?

– Кто ее знает, мой друг! Я ее уж лет шесть вижу у княгини, знаю, что фамилия ее Лапоткина, что она друг без другадохнуть не могут, а кто она, откуда, девица или вдова – кажется, этого никто не знает.

Сереже в высшей степени понравилась Лапоткина. Он прозвал ее крокодиллом и беспрестанно подбивал меня ехать к княгине. Аполлон редко, по крайней мере с нами, бывал по вечерам у Натальи Николаевны. Обижаясь ролью ребенка, он преимущественно искал общества девиц. Но зато мы с Сережей довольно часто проводили зимние вечера перед камином известного будуара. Оказалось, что Наталья Николаевна не всегда заливает нос одеколоном. Нередко она как будтооживала, давая полную свободу своему тонкому, насмешливому уму. Когда она бывала в духе, нельзя было без смеха слушать ее рассказов. Нас с Сережей она, кажется, полюбила. Несмотря на ворчанье Лапоткиной, все собрание кипсеков и картинок поступило в наше распоряжение.

Дом княгини был если не одним из самых больших, зато одним из самых заваленных разными предметами роскоши. Скупая на все, даже на стол, хотя дер-

жала прекрасных поваров, она ничего не жалела на украшение комнат. Чего там не было! Бронза, на которой еще болтались миниатюрные ярлычки из магазинов, китайские вазы и уроды, сердоликовые гроты, малахитовые скалы, каскады из сибирских камней, серебро во всех возможных видах, органы, картины и даже ландшафт с башней, на которой часы каждый час били и играли, а стоящие в долине тирольцы, взявшись за руки, выделявали разные па. Коллекция диковинок с каждым годом увеличивалась. Кроме того, что Наталья Николаевна тратила на покупку их большие деньги, Лапоткина перед всяким рождением и именинами княгини искала по магазинам самой затейливой, самой дорогой вещи и потихоньку ставила ее на видное место так, чтоб когда в торжественный день друк выйдет в парадные комнаты, то встретил бы приятный сюрприз. Странно, однако ж, что Сонечка почти никогда не сходила сверху, исключая дней, когда бывали гости. В подобные дни обычная тишина и расчет в доме сменялись шумом и хлебосольством. Обед бывал на славу, с самыми дорогими винами и плодами. Известный в то время Влас пек пирожки. Лапоткина надевала чепец и, явясь в полном блеске, старалась показать, что ее радует торжество в доме княгини даже более, чем хозяйку. В самых нежных излияниях друзья не стеснялись ничьим присутствием.

Прибор Лапоткиной, как и всегда, ставился рядом с прибором Натальи Николаевны. Во время обеда Лапоткина, одаренная добрым аппетитом, отрежет, бывало, на своей тарелке лучшую частицу кушанья и, поваляв ее в приправе, собственной вилкой положит в рот княгини, примолвя: «Ммой дррук, скушай ввот эттот куссоччек». Ту же нежность оказывала Лапоткиной и княгиня. Шумно и весело бывало в подобные дни у Натальи Николаевны. Гостей бывало много. За столом я никогда не видал Сонечки, но зато, появляясь до и после обеда среди многочисленных посетителей, девочка, казалось, дышала свободней. Но и тут Лапоткина, следя своими стеклянными, подозрительными глазами за всем происходящим в доме, не упускала случая смутить и напугать бедного ребенка. Едва кто-нибудь из маленьких гостей приблизится к столику или этажерке, с намерением погладить кристальный каскад или измерить пальцем глубину сердоликового грота, Лапоткина уже кричит: «Сонечка! что этто зза прокказы? как этто мможжно все ррукками трогать? Я тебя сейчасс отправвлю нна вверх к княньке», – хотя бы бедная Сонечка была в десяти шагах от запретных предметов.

Однажды вечером, при мне, Лапоткина решила, что княгиня прежде всего должна побережь свое драгоценное здоровье, что поблажать капризам неблаго-

дарных детей пагубно, что характер Сонечки портится с каждым днем и поэтому надобно отдать ее в воспитательное заведение под самый строгий надзор. «Ах, это правда!» – со вздохом отвечала княгиня, протягивая руку за флаконом одеколona. Через месяц Сонечки уже не было в доме. Впрочем, и так ее почти никто не видал. Касательно прежней жизни княгини я слышал следующее. Происходя из хорошего и богатого рода, она почти всю жизнь провела в Москве. Старики говорили, что она долгое время блистала красотой. Вполне уверенная в своем могуществе, Наталья Николаевна кокетничала, водила всех за нос и втайне смеялась над эксцентрическими глупостями своих обожателей, из которых многие только что не пошли по миру, по милости ее прихотей. Играя и шутя, Наталья Николаевна, при всем своем уме, едва не перешла границу благоразумия. Хотя она все еще была очень хороша, но ей далеко перешло за тридцать, а по разделу из большого отцовского состояния следовала незначительная часть. Надо было подумать о будущности. Умная кокетка выбрала богатого старика, князя Васильева. Князь был каким-то чиновником и большую часть огромного состояния приобрел во время службы. Года три продолжалось счастье супругов. Княгиня блистала. Князь хворал и обожал жену. Удивительно ли, что она умела заставить его передать ей

все состояние? За полгода до смерти старика у Натальи Николаевны родилась дочь Софья. Князь скончался. Неутешная вдова надела глубокий траур и, во всю жизнь вспоминая о муже, называла его незабвенным другом. Мало-помалу княгиня привыкла к своему новому положению и уединенной жизни. Близкие родственники и хорошие знакомые навещали ее, сама же она выезжала редко и умела заставить высоко ценить свои посещения. Не знаю, по слабости ли нервов или вследствие приключения, Наталья Николаевна боялась бойких лошадей, и потому, при блестящих экипажах и ливреях, лошади ее еще резче бросались каждому в глаза старостью, худобой и косматой шерстью.

VI. Жених

Прошло лет семь. Я готовился перейти на последний курс. Вокруг меня не осталось никого из приехавших в Москву в желтой карете. Аполлон, не выдержавший переходного экзамена в первый год, заболел на следующий во время испытания, и дядюшка, ворча на недоброжелательство, повез его в Казань. Там им тоже как-то не посчастливилось, и года через два я получил из дома известие, что Аполлон определился в кавалерию, а добрый дядюшка скончался от паралича. Сережа, поступивший раньше меня в университет, кончил курс лекарем первого отделения и отправился на юг. Время от времени мы с ним переписывались. Итак, повторяю, я остался один в Москве. Помню, по случаю экзаменов, приходилось почти не вставать из-за стола. Пообедав и отдохнув немного, я садился за работу и просиживал майские ночи напролет. Быстро сгорали мои свечи, еще поспешнее били стенные часы один час за другим. Мечтать и нежиться было некогда. Однажды, в подобные минуты, хлопнувшая дверь и частый стук каблуков заставили меня приподнять голову. Перед рабочим столом моим остановился молодой человек в плаще с широко развернутыми бархатными отворотами, в блестящей шляпе,

надетой значительно набекрень, и в безукоризненно белых перчатках.

– А что, братец? Сидишь до сих пор над каторжной латынью? – сказал вошедший пискливым дискантом, по которому я тотчас узнал Аполлона, несмотря на то, что очков уже не было у него на носу.

– Откуда это тебя бог принес? – вскрикнул я, обрадовавшись старому однокашнику.

– Вот как видишь! – перебил Аполлон. – А что, каков Занфлебен? Лучший портной в Москве! Зато и дерет немилосердно.

– Да полно вертеться-то; присядь-ка.

– Я к тебе на минутку, – пропищал Аполлон, бросая в сторону плащ и шляпу. – На вечер надо переменить рысака: таков уговор был с Саварским. Вот тоже, каторжный, не жалеет моего кармана! (Слова «каторжный» Аполлон прежде не употреблял и, следовательно, выжил во время нашей разлуки). Скажи мне, – прибавил он, – часто ты бываешь у Васильевой?

– Признаюсь, более полугода не был.

– Стало быть, ты ничего не знаешь?

– Ровно ничего.

– Так послушай, послушай: это целый роман! Служба мне надоела. Покойник батюшка был плохой хозяин, мать еще хуже. Я подал в отставку. Приезжаю домой. Какая тонкая женщина матушка – говорить те-

бе нечего. Рядом с Мизинцевым, в огромном имении Васильевой, живет управляющий... Да ты, вероятно, имение-то знаешь: Жогово?

– Слышал.

– Управляющий, приезжая к нам по делу, проговорился матери, что княжна вышла из института и живет у Натальи Николавны. Только этого и нужно было моей старухе. Поезжай, говорит, женись. Соединить Жогово с Мизинцевым, брат, не шутка. Сатрап – да и конец! Письмо написала к княгине самое любезное... ты знаешь, если она захочет. Вот я уж недели две в Москве; третьего дня я сделал предложение, и теперь, как видишь, формальный жених.

– Поздравляю.

– Да и есть с чем. Приезжай ко мне в Жогово: я тебе покажу, что это такое. Но зато, чего это мне стоит! Я между двух огней. Васильеву ты знаешь – скупа, как жид; а у меня хоть и есть отцовское состояние, да мать еще своего не отдает, а главное, накопила денег и сидит над ними. Ну, знаешь, позамотался. Взял сюда тысяч десять ассигнациями – мало осталось. Да я без церемонии написал матери, если не пришлет сорока тысяч, так я себе пулю в лоб. Зато посмотрел бы ты, какие я им сделал подарки! Наталье Николаевне привез серебряную вазу – так она и ахнула! Старой колдунье Лапоткиной тоже подарил.

Я хотел было спросить Аполлона, хороша ли Софья, нравится ли она ему, но он не дал мне говорить.

– Ах, да! Право, от этих хлопот голова до того вертится, что чуть не забыл сказать тебе про главную цель моего визита. Скажи: ты читаешь Сю?

– Читаю; но к чему этот вопрос?

– Встретил я, братец, в магазине на Кузнецком француженку. Совершенно Урзула в «Матильде». Я готов для нее разориться... обожаю «Сю»![32] Раскопай мне, братец, каких-нибудь ее знакомых, родственников. Поедем туда. Ведь ваша братья, студенты, доки, всю подноготную знают; а в магазине объясняться – все дело испортишь.

Я наотрез отказался искать родственников героини Сю, и Аполлон надулся.

– Прощай, брат, – сказал он, набрасывая плащ. – Если будешь завтра у княгини, так увидимся.

Некоторое время, по уходе двоюродного братца, я не мог вникнуть в работу. Все слышанное было для меня так неожиданно и загадочно! Этот Аполлон, появившийся вдруг, как *deus ex machina*...[33] неужели он в такое короткое время успел пленить княжну? Но, может быть, она продолжает играть незавидную роль, которую играла в детстве? Неужели княгиня не нашла никого лучше в женихи своей дочери? Все эти вопросы представились мне разом; но, не найдя на них в

голове своей ответов, я махнул рукой и принялся за работу. На другой день являюсь к княгине. Наталья Николаевна и Лапоткина сидели в гостиной.

– Что это вы, мой милый, совсем нас забыли? – сказала княгиня.

– Мы поллагали, что васс уже нет в Москве, – прибавила Лапоткина, стараясь придать лицу своему приветливое выражение, хотя оно тем не менее походило на голову лупоглазого кузнечика под микроскопом.

– Вы знаете нашу новость? – спросила княгиня.

– Я хотел ее слышать от вас и приехал с поздравлением.

– Как же, как же! Наша невеста сейчас выйдет. А между тем очень рада вас видеть. Я хотела с вами переговорить. Шаг, предстоящий моей дочери, так важен! Скажите как родственник, какого вы мнения об Аполлоне?

Я мог бы ответить, что дело почти сделано, что меня об этом прежде никто не спрашивал и что Аполлона Наталья Николаевна знает столько же, как я; но подобный ответ не повел бы ни к чему. Вспомнив случайно, как, с год назад, княгиня говорила мне, будто до нее дошли слухи о непочтительном обращении Аполлона с матерью, я отвечал:

– Хороший сын обещает быть хорошим мужем.

– Да, мой милый, – перебила княгиня, и глаза ее сверкнули едва заметно.

В таком молодом человеке, как наш Аполлон, трудно предвидеть, каков он будет в совершенно зрелых летах. Ты боишься вечеров, собраний, одним словом, толпы, шуму и расходов; тебе нужно сбыть дочь с рук! Делай что хочешь! Может быть, найдется и еще какая-нибудь тайна – какое мне дело!

– А в вот наша милая невеста, – сказала Лапоткина, и в появившейся девушке я в ту же минуту узнал княжну. Как описать ее наружность? «Глаза – зеркало души» – говорит пословица. Дивно хорошо это зеркало, когда свет – жизнь впервые бросит в сердце женщины свои жгучие речи, свои заветные, нескромные тайны; стремления души получают направление; в молодой, пылкой голове роятся самые смелые мечты, и весь этот план жизни светится в глазах. Не менее прекрасны глаза княжны; ничего подобного еще нет в них; они так сини и прозрачны... Если она смотрит на вас, то не с намерением судить, а только изучать. Вы для нее один из уроков жизни. Это почти тот же взгляд Сонечки, но вы чувствуете: вот-вот он загорится самобытной мыслью. Склонением этих длинных ресниц управляет уже тайный инстинкт. Круглое детское личико перешло в овал с самым тонким очертанием. Этот свежий, летучий румянец – Сонечкин, но

у Сонечки не было такого плеча, не было тяжелой косы, которая, кажется, так и оттягивает назад миловидную головку.

Взглянув на пышное, бледно-розовое платье, на дорогие серьги и браслеты, невольно скажешь: «Нет, это уж не Сонечка: это княжна, Софья Михайловна». С заметною радостью приняла она мое поздравление. Вероятно, ей хотелось поскорей ускользнуть из-под стеклянных взоров крокодила, а может быть, и от матери.

В голубом стекле гостиной мелькнула дуга, и серый рысак, распластавшись, пронесся по мостовой.

– Кажется, это наш жених, – сказала Лапоткина, вставая. – Пойддемте к нему навстречу.

Княгиня осталась в гостиной, а мы втроем вышли в приемную. Раздался учащенный стук каблуков, и Аполлон с самодовольною улыбкою влетел в комнату, держа в руках какие-то сафьянные футляры.

– Что это, Аполлон Павлович? опять подарки? – сказала Лапоткина. – Правда, вы нас совсем избаловали. *Goutt'en vos cadeaux*[34], – прибавила она с улыбкой, указывая глазами на княжну.

Не желая мешать свиданию жениха и невесты, я взял шляпу и ушел.

Но как описать свадьбу – голубую, восьмистекольную карету жениха и, наконец, нанятый им по этому

случаю дом? На третий день после свадьбы, часу в двенадцатом, я поехал к новобрачным. Боже! что за лестница в бельэтаж! Четыре площадки: внизу, при первом повороте направо, при втором и, наконец, наверху. На каждой площадке нужно было проходить между двух деревянных, вызолоченных львов, с ярко-красными языками под лак. Подымешься ступенек пять-два льва, еще пять – еще два льва, еще львы и опять львы... В самом доме архитектор не пощадил ничего. Египет, эпоха Возрождения, Италия, Греция, арабски – словом, все убранство комнат заставляло не менее разбегаться глаза. Гостиная была, так сказать, складом дешевых редкостей. Против дивана, у самых стекол балкона, стояла, на удивление уличному миру, золотая арфа без струн. В этой комнате я застал молодых на диване за кофе.

– J'ai l'honneur de vous presenter m-me de Chmakoff[35], – сказал Аполлон, расправляя свою курчёрскую причёску.

Молодая, в белом пеньюаре и крохотном, едва прикрывающем косу чепце, протянула ко мне побледневшую руку, спросив, не хочу ли я кофе. Не дождавшись ответа, она позвонила и велела принести чашку. Признаюсь, я смотрел на Шмакову с удивлением. Из полуребенка в два дня она превратилась в милую женщину. В каждой черте лица радость. Да и как ей не радо-

ваться? Близ нее, вместо грозного крокодила, муж, которого она любит и для которого готова всем пожертвовать.

– Ну, братец! – запищал Аполлон, уводя меня в сторону, – если все студенты на тебя похожи, это не делает им чести! А какова моя жена? Просто, брат, персик! А еще студент! Ведь я таки познакомился с Урзулой-то. Дня через два она...

– Поздравляю вдвойне.

– Не с чем, брат, не с чем. Вот тогда поздравь, как Жогово приберу к рукам; тогда поздравляй сколько хочешь. Но зато, что мне все это каторжное стоит! Кажется, – прибавил Аполлон, прищуривая глаза на золотую арфу, – кажется, фамилия не может на него пожаловаться. Не уронил ее достоинства?

– Еще бы!

– Мать, теперь, я думаю, горюет по банковым билетам. Да погоди, завоет и Наталья Николавна! Что-то она про Жогово ни слова. Я – ты знаешь мою деликатность, или, лучше сказать, слабость и глупость – в Москве тоже не заикнусь о нем; но чуть в Мизинцево – сейчас же письмо. Самым деликатным образом дам ей заметить, что дочери ее даром содержать не намерен. С такими целями надо было ей искать кого-нибудь попроще.

– Аполлон, – отозвалась молодая, – полно от меня

секретничать. Оставь дела до другого времени. Это так скучно!

– Виноват, тысячу раз виноват! – гневно запел Аполлон по-французски, – но я полагал, вы поймете, что я не в состоянии ежеминутно окружать вас вниманием и удовольствиями, к которым вы привыкли в доме княгини.

Светло-синие глаза Шмаковой подернулись легкой влагой; но она мгновенно оправилась.

– Разве ты не видишь, я пошутила? Не такой же я ребенок, чтоб не понимать, какие важные дела могут быть у мужчин. Кузен составит самое невыгодное мнение о моем характере. Ты видишь, он берется за шляпу.

– Куда же так скоро? – спросил Шмаков.

– На экзамен, – отвечал я, уходя.

– *Bonnie chance!*[36] – звучал мне вслед приветливый голос Шмаковой. – Приезжайте к нам в деревню.

Экзамен-то я выдержал и уехал на каникулы домой, а побывать в Мизинцеве не удалось. С приезда пробыл у бабушки в дальней деревне, а тут расцвела гречиха, и на длинном болоте, за рекой, каждое утро, как в садке, стали вылетать носатые дупели. Рано, бывало, часов в пять утра, разбудит меня слуга, приготовив болотные сапоги и ружье. И лень вставать, и хочется на длинное болото. Но вот я одет и во-

оружен. Выхожу на крыльцо. Алешка, фореитор, спит верхом на буром, положив кулак на кулак на его косматую гриву и успокоив свою кудрявую голову на этом шатком основании. Длинный чумбур моей рыжей кобылы Алешка закинул петлей на свою переднюю луку, а кобыла, пользуясь свободой, приподогнула передние ноги и жадно ловит губами короткую, густую травку около крыльца. Газон перед кухней представляет мирное воспроизведение Мамаева побоища; по всем направлениям желтеют и чернеют полушубки, из-под которых выглядывают головы, покоящиеся на пестрядинных и ситцевых подушках – это комнатная и кухонная прислуга предаётся роскоши русского человека – поспать летом на дворе.

– Где же Полкан?

– Не могу знать, – отвечал Алешка.

– Полкан! Полкан!

На знакомый свист белый, огромный Полкан со всех ног летит с кухонного крыльца и выражает свою радость, прыгая на грудь рыжей кобыле. Дорога идет через сад. Сад еще спит, и если ружейный ствол ненароком зацепит за сук липы или березы, встревоженные ветви обдадут неосторожного проезжего холодным дождем росы. Только переедешь поле, так тут и река. Даже отсюда видно, как она загнулась и подошла к самому лесу. С каждым шагом лошади по

звонкой, накатанной дороге из-под копыта вырывается клуб серой пыли и наискось медленно отлетает на созревающую рожь.

– Что это, Алешка, вода-то, никак, прибыла?

– Прибыла-с. Как бы нам на броду-то не подплыть! Извольте видеть: на середине хрящ-то совсем залило.

Но рыжая кобыла уже в воде.

– Извольте держать правее.

Но мы уже на противоположном берегу. Там и сям по широкому лугу еще отзываются неугомонные коростели. Круглокрылые чибиса завидели нас издали и шныряют над нами с обычным настойчивым вопросом «чьи вы? чьи вы?»

– Ты смотри, Алешка, опять не засни! Я пойду этой стороной болота, а ты стой тут с лошадьми иждидайся. Да махни мне, если куда птица перелетит: тебе с лошади виднее. А где Полкан?

– Да он, никак, стоит.

– Где? где?

– Вон, вон направо-то.

– Да где направо?

– А вот прямо-то извольте видеть желтые цветы, так за цветами-то в кусте белеет. Это, знать, он; ишь как хвост-то уставил!

Не слишком доверяя стойкости Полкана, бегу, за-

дыхаясь, по указанному направлению. Серый дупель, выпорхнув из-под собаки, параболой приподымается на воздух. Он летит так плавно, что не только длинный нос его, но и черные блестящие глаза совершенно видны. Паф! паф! Дупель продолжает параболу, начиная спускаться к земле.

– А правая-то нога повисла, – кричит Алешка. – Ишь как болтается!

Еще дупель, и еще; а вот молодая утка, по неопытности, выплыла на чистое место. Паф! «Apporte[37], Полкан!» И ее давай сюда. Но солнце начинает припекать. Жирный Полкан высунул язык, комары кусаются; скоро девятый час – пора домой. Матушка, верно, ожидает с чаем.

– Вот и жаркое, тапан.

– Благодарю, дружок, да поцелуй же свою мамашу. Боже, как ты загорел! Послушайся моего совета: умойся на ночь сывороткой или отваром из петрушки.

– Не надо, тапан; пожалуйста, оставьте.

– Ну, так я пришлю тебе самохотовского огуречного молока.

– Не надо ничего.

– Да ты страшен! Я видеть тебя не могу, – говорит матушка, подводя к своим губам мою пылающую голову. – Как ты с таким красным носом поедешь в Мининцево!

– Очень просто: я ни с красным, ни с белым не поеду.

– А что скажет отец, когда приедет? Он скажет, что с людьми нельзя так жить, что есть на свете небольшой зверок – пристойность, который, за неуважение к себе, больно кусается. Одним словом, и тебе и мне достанется.

– Мамаша, право, мне не зачем туда ехать и гораздо веселей с вами.

– О, ты преизбалованный мальчик!

– Маман! а что я вам говорил?

– Виновата, друг мой, виновата! Я знаю, ты уже не мальчик, но в глазах матери дети – всегда дети.

Результатом всего этого было, что я ездил верхом, стрелял дупелей, а в Мизинцево не поехал.

VI. И то и се

Еще минул год. Опять весна. Опять чудные майские ночи...

Есть речи, – значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно[38].

Таковы для меня звуки: «майская ночь». Сколько тысяч раз соловьи, поэты и прозаики воспевали ее! Сколько вариаций на эту вечную тему! Но что значит все это? Майская ночь опьяняет человека, вынуждает его зарыдать на ее благоуханной груди – где же тут описывать? Это последняя ночь над тетрадами. Завтра окончательный экзамен. Какое счастье! Завтра свет растворит передо мной настезь свои двери. Иди, куда хочешь. И вот на другой день последний экзамен кончен. Я видел, как профессор приставил против моей фамилии полный балл. Кончено! Университет для меня более не существует... Но где же радость, о которой я мечтал годы? Ее нет! На душе несколько не радостно, даже глубоко грустно...

Долго стоял я на площадке университетской лестницы. Черная вывеска Материи, под сенью которой

съедено мною, между лекциями, столько котлет и корнишенов, теперь бессмысленно пучила на меня свои золотые буквы. Зачем я туда пойду? Но идти куда-нибудь надо. Зайду к портному, спрошу, готово ли штатское платье. Завтра прощусь с знакомыми да и марш в деревню. А там мое назначение авось найдет меня. На следующий день приезжаю к Васильевой. Значительно покрасневший нос Натальи Николаевны пил запоем одеколон. Наговорив мне кучу любезностей и пожелав всевозможного счастья, княгиня сказала, между прочим:

– Недели две назад управляющий донес мне, что у Шмаковых родилась дочь. Сегодня Софи пишет: дочь названа Александрой. Признаюсь, это меня удивило. Зная страсть Аполлона Павлыча к романам, я ожидала услышать имя Матильды, Евгении или, по крайней мере, Лидии. Но какой он, однако ж, странный! Было время, он каждую почту надоедал мне требованиями касательно Жогова. Я, бедная, больная женщина, расчетами никогда не занималась, управители меня обманывают, а он непременно хотел вовлечь меня в дела. Сначала я хотела, как порядочному человеку, объяснить мое положение; но когда своими выражениями он доказал отсутствие всякого воспитания, то я объявила ему однажды навсегда, что письма его будут возвращаемы нераспечатанными. Могу се-

бе представить, как деликатен такой грубый человек с женою! Но Софи мне об этом ни слова не пишет, зная мои правила. Я никогда не вмешиваюсь в дела мужа и жены. Хотя точно жаль...

– Можжно, мой друк, – перебила Лапоткина, – сожжалеть о ттом, кто террпит отт роддиттеллей. Роддиттеллей ммы не самми себбе даемм, а мужаа избирраем самми. Умрри, а террпи!

Через две недели после этого разговора я был уже в деревне. Батюшка сильно налегал на то, что пора мне избрать род службы. По мнению матушки, надо было оглядеться, а мне приходило на ум, что в деревне сколько ни оглядывайся, ничего не увидишь. В одно прекрасное утро я проснулся, против обыкновения, довольно рано. Утро было истинно прекрасно. Ни один лист на осиннике не шевелился. Коршун, изредка потрогивая то правым, то левым крылом, казалось, висел под безоблачным небом, и тень его не проскользнула, а медленно проплыла по песчаной дорожке у подъезда, мелькнула вверх по стене флигеля и исчезла на другой стороне крыши. Верстах в пяти от нашей деревни, в соборе заштатного городка, готовлялись встретить в этот день храмовый праздник. Из долетавшего по реке благовестного хора ясно выступал густой баритон соборного колокола. Уже давно бабы, надев праздничные кички с пестрыми лопасть-

ми, золотыми сороками и бисерными подзатыльниками, в новых лаптях, потянулись по дороге в город, обгоняя старушек в таких же кичках, только под белыми покрывалами. Когда я оделся, чтоб идти к чаю, в комнату мою вошел буфетчик Аристарх, наскоро приглаживая остатки седых волос.

– Папаша приказали узнать, угодно ли вам будет ехать в город.

– Да, поеду; только я сам сейчас скажу ему об этом.

– Барин, батюшка! – прибавил Аристарх, как-то подсвистывая, – осмелюсь вашей милости доложить, просите папашу, чтоб приказали заложить в пролетку тройку молодых вороных. Вся тройка добрая-с, а левая, батюшка, пристяжная, только весной заездили, может, изволите помнить Змейку – утешительница-с! Барин их никому ни шагу. Да намедни Сидор прикащик без них, по погрешности, захотел испробовать, к куме съездил, сказывал: уважила-с. Со двора-то, как изволите ехать, так, известное дело, надо уж по батюшкиному потрафлять-с: вожжу в кольцо, а изволите за лес заехать – как угодно-с. Извольте приказать вожжу-то под третий поперечник – так и завьется. Вот изволите увидать-с, как завьется.

Я уж вышел из комнаты, а Аристарх все еще толковал: «Ей-богу, завьется; еще как завьется-то!»

– Поди, – сказал батюшка слуге, – прикажи зало-

жить тройку молодых в пролетку. Да ты, пожалуйста, – прибавил он, обращаясь ко мне, – не гони пристяжных в карьер: это ни к чему не ведет, да и лошадям вредно. А как по-вашему? Гони; испортил лошадь – давай другую. А где их взять, других-то? Я это говорю вам, молодым людям, затем, что сам на свете много кувыркался, да в куст головою попадал. Ну, бог с тобой, – сказал батюшка, когда подали лошадей. – Да заверни на станцию, нет ли писем или ведомостей.

Хотя я за лесом и не поддавал вожжей под третий поперечник, но коренной под конец так разошелся, что пристяжные заскакали. В городе на площади Змейка чуть не сбила с головы у продавца доски с горячими калачами. Какая пестрота! К собору нельзя подъехать. Толстый квартальный, в полной форме, обливаясь потом, никак не может привести в порядок экипажей. Деревенские кучера еще не привыкли к городской дисциплине. Один фореитор въехал в выносы другого, и, вместо того чтоб распутаться и исправить беду, они хотят решить дело единоборством. Посреди площади навалены горы лубков, ободья и деревянной посуды. Это необходимое; но зато вокруг все шатры наполнены предметами роскоши для мужика и баб. Там не такой товар, какой по деревням меняют ходячки на тряпки да на яйца: тут все, как быть, настоящее. Но собственно торг еще не на-

чинался. Только к «достойной» ударили. Еще слышно, как галки, возвращаясь с полей, перекликаются на главах, а дай-ко народ хлынет от обедни, так хоть из пушек пали – ничего не слышать. С трудом протолкался я до правого клироса. Дам было много; особенно бросилась мне в глаза одна в легкой белой шляпке. Она одета была с большим вкусом и держалась просто и грациозно. Подвигаюсь вперед – знакомое лицо. Всмотриваюсь – точно, это Шмакова, но так изменилась, что действительно с первого раза не узнаешь. Щеки заметно впали; нет прежнего летучего румянца: он как-то огрубел и сосредоточился под глазами. Сначала я думал ей поклониться, но, видя, с каким жаром она молится, не захотел мешать. По окончании обедни началась давка. Я подошел к Софье Васильевне и, с помощью ее лакея, помог выбраться на паперть.

– Благодарю вас, – сказала Шмакова, вздохнув свободней, – я так устала!

– Вы, верно, к нам? – спросил я.

– Нет, я сейчас же еду домой. Извините меня перед тетушкой, но это точно выше сил моих. Я еще не оправилась от болезни.

– В таком случае зачем же вы тревожились, ехали? Это вам может повредить.

– Я хотела молиться, – сказала Шмакова почти шепотом и как бы невольно.

Я был молод; в груди у меня стало жарко, как от лишнего стакана вина. Я быстро схватил руку Шмаковой и, взглянув ей в лицо, сказал патетическим тоном: «Кузина! мне глубоко жаль вас! Вы больны, вы страдаете, вы несчастны!» Шмакова вспыхнула. Кроткие темно-голубые и еще прекрасные глаза ее гордо сверкнули. Быстро высвободив свою руку, она перебила мою фразу.

– Надеюсь, кузен! – сказала она, – что в словах ваших не будет ничего обидного ни для моего самолюбия, ни для людей мне близких.

«Так вот ты какова!» – подумал я и довольно неловко переменял разговор.

– Прощайте, – сказала Шмакова, садясь в карету. – Кланяйтесь дома.

Я тоже просил передать мой поклон тетушке, а кланяться Аполлону у меня не достало духа. «Вот, – подумал я, садясь на дрожки, – правду говорит пословица: свои собаки грызутся, чужая не мешайся. Пошел на станцию!» Змейка завилась. «Давно ли почта пришла?» – спросил я смотрителя. «В девять часов пришла легкая, а тяжелую ждем каждую минуту». – «Письма есть?» – «Есть одно; газет еще не было». «Что же вы меня держите?» – раздался звонкий, свежий голос из-за перегородки. «Извольте повременить какой-нибудь часок. И рад бы душою, да все в

разгоне». «Кто это?» – спросил я. «Какой-то офицер. Вот подорожная», – отвечал смотритель шепотом. Я взглянул на подорожную. От Москвы до Меджибожа... уланского полка корнету Мореву с будущим. «Какой это Морев? – подумал я, – уж не сын ли генерала Морева – Петруша, которого я видел в корпусе и с которым в последнее время почти подружился?» «Я буду жаловаться», – раздался тот же голос, и в показавшемся в дверях офицере я с радостью узнал Петрушу. «Ковалев! какими судьбами?» – «Я хотел тебе сделать тот же вопрос». – «Да вот, как видишь, еду в полк, да никак не доеду. Отец поручил заехать в деревню, поверить старосту. Там почти месяц просидел, а тут еще лошадей не дают. Однако, чего ты тут стоишь? Войди, по крайней мере, в комнату».

VII. Рассказ Морева

– Садись-ка, брат, вот тут, на диван, – сказал Морев, когда мы вошли в комнату проезжающих. – Не хочешь ли сигару, а я не могу сидеть: надоело. Судя по твоему костюму, тебя можно поздравить. Кончил курс, поступаешь на службу?

– Кончить-то кончил и думаю на службу, да еще не решился куда.

– Эх, брат Ковалев! иди в уланы. Полно купаться в чернилах-то. Ступай к нам в полк. Славный полк, пишет товарищ. Офицеры охотники до лошадей, и у всех славные кони. Соседство, говорит, хорошее, а про охоту и спрашивать нечего. Куропаток мальчишки палками бьют.

Я посмотрел на яркий околыш фуражки Морева.

– Ну, что раздумывать? вели укладываться, да и марш!

Я почти обещал поступить в полк, где служил Морев, но просил его написать мне подробно обо всем. – Позволь же мне, – сказал Петруша, – спросить бутылку шампанского в честь новобранца.

– Нет, брат, – отвечал я, – деревня наша в пяти верстах отсюда, и пока лошадей тебе выкормят, поедем к нам обедать, а после обеда я тебя сейчас лее до-

ставлю на станцию.

– Вот уж этого не могу! – возразил Морев. – Хоть меня и звали в корпусе подбитым ветерком, а все-таки дружба дружбой, а служба службой. И так опоздал. Из деревни уехать было нельзя. Отец сказал бы, что я ничего там не сделал, а я и то даром просидел.

– Да что ж ты там делал?

– Как что? Говорят тебе, поверял старосту. Ты хотя немного помнишь моего отца? Привыкнув к дисциплине, он не терпит возражений. Когда я собирался в полк, отец позвал меня и говорит: «Заезжай в деревню. Я знаю, там беспорядок. Ты уже не ребенок – в твои лета я ротой командовал; так поверь старосту и донеси мне, как нашел хозяйство». Делать было нечего. Сел на тройку, да и марш. Приезжаю, братец, в деревню. Старинный сад зарос. Огромный дом в самом жалком виде. Развалившаяся крыша поросла мохом, мебель оборвана. Старинное аббатство, да и квит. Кое-как устроился в кабинете. В других домах на чердаке галки да голуби, а тут вечер настанет – как бы ты думал? совы! да какой концерт подняли, просто ужас нагнали. Однако ж я главного-то не забываю. Сел поутру в старое волтеровское кресло да и говорю: позовите старосту. Является небольшой мужичок. Кафтанишка на нем худой, обшлага кожей обшиты. Маленькие глазки так и бегают по сторонам; рыжая

борода двумя клиньями; в руках две палочки с надрезанными крестиками. «Ты староста?» – «Я, батюшка, Петр Петрович». – «Ну что, как у тебя дела идут?» – «Слава богу, батюшка Петр Петрович, во што». – «Как слава богу? Батюшка говорит, что ты уж два года ничего не присылал». – «Времена-то, батюшка Петр Петрович, какие подошли! Ты ишь какие времена-то, во што!» – повторил староста, взглянув в окно. На дворе был чудный летний день и больше ничего. «Ну, хорошо, – сказал я, – времена временами, а счета ты принес?» – «Как же, батюшка Петр Петрович, – отвечал староста, указывая на палочки, – на все надо резонт – во што». – «Да что ж это такое?» – «Бирки, батюшка Петр Петрович. Мы люди темные, так бирками занимаемся – во што». – «Ну, говори, а я буду записывать, а там сочтемся». Синий ноготь на большом пальце правой руки у старосты зашагал по бирке из метки в метку, язык залепетал, а раздвоенные концы рыжей бороды зашевелились, опускаясь вверх и вниз, как хвост у трясогузки. «На Бутырском верху семь копень, два крестца, три снопа, без малого, с осьминой. На Разбегае с крестцом сам-треть как есть, на Чудиловом...» Но он с первых слов так меня озадачил, что, делая вид, будто слушаю и записываю, я с отчаяния начал писать: «Пошел козел в огород; чигирики-чок чигири». Мученье мое продолжалось, по крайней ме-

ре час. Наконец терпение лопнуло. «Ну, брат, хорошо. Мы после с тобою кончим. Ступай». На другой день плут староста пришел уже незванный и принес не две бирки, а штук десять. «Что тебе нужно?» – «Как же, батюшка Петр Петровичу знамо, пришел к вашей милости счесться. На все надо резонт – во што». Опять та же потеха, и я опять прогнал его. На третий день он притащил чуть не целый воз бирок. Я как только увидел его: «Вон! – говорю, – не смей ко мне приходить, пока не позову». – «Как вашей милости угодно, – говорит, – я, чтоб часом инарал-то наш не осерчал – во што». С тех пор староста уж не приходил незванный. Что делать? Писать к отцу рано, уезжать рано – узнает; скука, да и только!

– Да неужели ты все это время проскучал один?

– То-то и есть, что нет. Судьба сжалилась надо мной и послала такие развлечения, о которых мне и не снилось.

– Что ж такое?

– Чтоб хоть сколько-нибудь очистить совесть перед отцом, я вздумал хотя поле объехать. «Ванька! скажи, чтоб мне и старосте оседлали лошадей; я поеду по полям». Целое утро протаскались мы по межам и кустам и наконец выехали на торную дорогу. Все это так мне надоело, что я хотел было повернуть домой. Вдруг слышу, за нами кто-то едет. Оглядываюсь

– какой-то толстый господин на беговых дрожках. Поравнявшись с нами, он поехал шагом и начал попеременно смотреть то на меня, то на старосту. «Позвольте вас спросить, – сказал он наконец, – вы не из Дюкова?» – «Да». – «Не сынок ли генерала Морева? Честь имею рекомендоваться: сосед ваш Орест Савич Морквин». – «Очень приятно...» – «Я, батюшка Петр Петрович, человек простой, живу по-старинному, а потому покорнейше прошу, для первого знакомства, откусать. Извольте видеть, вон за плотиной белый дом. Стол накрыт; милости прошу». Сначала я извинялся, но ничего не помогло. Оказалась ни дать ни взять Крылова басня: «Хозяин музыки любил – и пригласил соседа певчих слушать». Явились певчие. «Становись!» – Скомандовал Орест Савич. Певчие разделились на два хора. Басы и тенора в одну кучу, альты и дисканты в другую. «Вы, батюшка Петр Петрович, еще не слыхивали таких певчих, – заметил, улыбаясь, Морквин, – у меня ведь поют со спором». Сначала я не понял, что значит петь со спором, но за первым блюдом загадка объяснилась. Запели: «Забелелися во чистом поле каменны палаты». Кажется бы, просто-не тут-то было. Басы запели: «Забелелися», вслед за тем дисканты: «Забелелися», басы еще громче: «Забелелися»; дисканты еще визгливей: «Забелелися... забелелися, забелелися, забелелися, за-

белелися», и наконец все вместе: «каменные палаты». Подобным образом спеты были чуть не все известные русские песни, и эффект выходил такой, что я чуть со смеху не подавился куском телятины. Но это, братец, еще не все. Я забыл тебе рассказать главное. Большая дорога у меня под самым окном. На другой или на третий день сижу я в кабинете и, со скуки, смотрю на проезжающий люд. Вдруг откуда ни возьмись, по направлению к уездному городу, несется лихая тройка буланых, в ямских хомутах. Большая новая телега, кучер в синем ярмяке; шляпа в зеленом чехле, перчатки зеленые, вожжи красные. Я растворил окно. Телега поехала тише. Смотрю: в задке, на высоком переплете, сидит господин в желтых перчатках, в красной александрийской рубашке с косым воротом, обшитым золотым галуном. На голове черный бархатный берет, в глазу стеклышко. «Ванька! Ванька! спроси, не знает ли кто-нибудь в доме, кто это проехал?» Через несколько минут Ванька воротился. «Сосед, – говорит, – Шмаков-с». «Какой это Шмаков? – подумал я, – уже не Аполлон ли?» В том же экипаже и в том же самом костюме Шмаков, по крайней мере, раза два в неделю показывался мне и, кажется, нарочно приказывал ехать шагом мимо окон. Признаюсь, он меня заинтересовал, и мне захотелось узнать о нем какие-нибудь подробности. Но как? В Москве я корот-

ко познакомился с тобой в последнее время, а Шмакова знал мало. Да, может быть, это еще и не тот. Ехать знакомиться не хотелось. И тут судьба помогла мне самым неожиданным и странным образом. Ночной крик сов до того мне надоел, что я приказал по частям разбирать и снова крыть крышу. Как-то поутру выхожу посмотреть на рабочих, вижу – по дороге едут крытые дрожки парой. Сначала я не обратил на них особенного внимания – мало ли кто ездит по большой дороге! Но потом смотрю: дрожки забирают влево, к дому, и наконец остановились у крыльца. Вертячая женщина, на лицо лет тридцати, в сером бурнuse, с палевой шляпкой на затылке, выскочила из экипажа. Темно-карие глаза и черные брови придавали ее несколько рябоватому, лицу энергический и бойкий вид. Темно-русые, пышные волосы разделены были спереди косым пробором и большая половина раздела, над самым лбом, ухарски приподымалась кверху, как у мужчины. «Петр Петрович Морев?» – спросила она, протянув ко мне руку в серой лайковой перчатке. «К вашим услугам». – «Уездная акушерка Палагея Николаевна. Прошу полюбить». – «Позвольте узнать, чем могу служить вам?» – «О! о! какой церемонный! Прикажете-ка дать лошадям овса, да пойдемте в комнату; тут жара невыносимая». С этим словом она побежала на крыльцо. Я последовал за ней. «Пожалуй-

ста, голубчик, не сердитесь! Я знаю все, что делается в уезде, и проведала про вашу скуку. Была здесь по соседству у помещицы; дай, говорю, заеду поболтать. Ведь вы еще не обедали?» – «Нет; кажется, довольно рано!» – «Тем лучше, поболтаем, пообедаем вместе, лошади отдохнут, и с богом». Сначала я был озадачен развязностью Палагеи Николаевны, но, оправившись, предложил ей снять шляпку. Сбросив шляпку на стол, она стала перед зеркалом, без всякой видимой нужды размотала свою толстую, блестящую косу, полюбовалась ею, кинула на меня плутовской взгляд в зеркало и снова уложила косу на затылке. «Теперь я к вашим услугам, – сказала Палагея Николаевна, обращаясь ко мне с улыбкой. – Где ваша комната? Давайте курить и болтать». За болтовней у нее дело не стало. Усевшись в кабинете у растворенного окна, мы благодаря незастенчивости моей гостьи в полчаса стали друзьями. «Смерть люблю молодых людей! – вскричала Палагея Николаевна, неистово целуя меня в щеку, – милашка! – прибавила она, – усики только пробиваются, и сердечко должно быть доброе». – «Палагея Николаевна! – сказал я, – уж если пошло на откровенность, скажите, отчего вы не выйдете замуж?» – «Замуж? Нет, голубчик, этот совет побереги для других. В тридцать восемь лет худо замуж выходить. Надо за старого – а они такие гадкие, изверги». В эту минуту

красный Господин, со стеклышком в глазу, поравнявшись на тройке буланных с домом, поехал шагом. Заметив его, Палагея Николаевна отвернулась. «Палагея Николаевна! Скажите, пожалуйста, кто этот чудак? Говорили мне, Шмаков, да как его зовут?» – «Как его зовут? – с жаром подхватила Палагея Николаевна, – изверг, низший, самый низкий человек – вот как его зовут. Хоть и величают его Аполлоном Павлычем, а он просто Змей Горыныч. Если б я, кроме него, никого мужчин не видала, и тогда скорее бы живая в гроб легла, чем замуж вышла». – «Да чем же он так заслужил ваш гнев, Палагея Николаевна?» – «Чем заслужил гнев? Ведь он жену-то, милочку-то, агнца-то невинного погубил, зарезал. Вы этого не знаете? не слышали? Я вам расскажу. Женился-то он не на ней, а на большом имении. А у нее мать-то в Москве, знать, не промах: не дала ничего. Сначала он к жене подольщался: «Сонечка, такая-сякая, пиши к матери», разломал старый дом, выстроил большой флигель, а против середины двора затеял барские хоромы. Да как узнал, что не получит имения – как бы вы думали? возненавидел жену-то. Я, говорит, вас (все «вы» ей говорит)... я, говорит, вас просто ненавижу. Вы, говорит, мне свет завязали. А между тем дело-то подошло к тому, что и за мной пора посылать. Как бы вы подумали! ведь не хотел, не хотел, изверг-то. «А мне, говорит, какое де-

ло?» Да уж мать-то его, скупая, но добрая старушка, на свой счет меня в дом взяла. Господи! чего только я там не насмотрелась! Погляжу, бывало, погляжу на нее – любит его, голубушка, без памяти. Уж чего-чего не делала! Время, знаете, пришло, уж не до нарядов. Одевается, бедняжка, волосы заплетает, завивает... Ростом-то он весь с воробья. Что ж бы вы думали? театральные башмаки без подошв из Москвы потихоньку выписывала, чтоб ниже ростом казаться: ничего не помогло. Заладил одно: «я вас ненавижу», да и только. Да если б вы знали, какие каверзы выдумывал! У матери она не привыкла к бойким лошадям. Старуха, знать, их боялась, дочь тоже. Это ему и на руку. Велит в крохотную варшавскую колясочку заложить четверку жеребцов. Лошади со стойки на стены лезут. Возьмет ее в этом положении-то, посадит, сам сядет и крикнет «пошел!». Лошади от крыльца понесут, жена в обморок, а он заливается со смеху. А не то в дождливую погоду велит ей одеться в белое платье, обувь белые атласные башмаки, и марш гулять. Выведет ее, бедняжку, на двор, сам на лошадь верхом и норовит всю забрызгать. Обдаст всю с ног до головы грязью и рад, хохочет... Пришло время родов... Признаюсь, я сама испугалась. И простудил-то он ее, и напугал-то – умирает женщина, да и только. Потребовала мужа. Приходит сахар медович. «Что вам, – говорит, – нуж-

но?» – «Аполлон, – говорит она, – друг мой, я умираю! Прости меня великодушно! Я, – говорит, – была твоим горем, не умела сделать тебя счастливым. Я одна виновата. Но я знаю, ты великодушен. Прости меня!» Уж так она его просила, так умоляла, что даже я не вытерпела – разревелась.

– Ну, а он-то что? – перебил я Палагею Николаевну.

– Он? – продолжала рассказчица, – как с гуся вода. Повернулся, расправил скобку – только и видели. Как-то бог помог: родилась дочь. Мать рада; старуха Шмакова земли под собой не слышит, так и сидит над внучкой. Смотрю, на третий день и противный-то приходит к жене. «А вы, – говорит, – не умерли? Ведь вы обещались умереть...»

На этом месте рассказа Морева в дверях показался станционный смотритель и объявил, что лошади готовы.

– А уложились?

– Совсем, – прибавил смотритель.

– Ну, прощай, брат Ковалев, – сказал Морев, пожмая мне руку. – Жаль, не досказал я тебе про Палагею Николаевну. Ну, да еще увидимся. Приезжай поскорей.

– Ты не забудь, Петруша, напиши, не поленись, да поподробнее.

Колокольчик зазвенел, и Морев покатыл за ворота.

VIII. Чернецов

Когда я объявил бабушке о намерении своем определиться в военную службу, он сказал: «Что ж? Прекрасно! Где хочешь служи. Ведь не я буду служить, а ты. Чем скорее, тем, по-моему, лучше». Матушки в Комнате не было: возражать было некому, но это не помешало бабушке с жаром вооружиться против невидимого противника. «Да нет, – продолжал он, – я не из числа ахал! Сынка жаль? Нет, нет, это не моя метода любить; да таки-нет, нет, это не моя метода. По-моему, поезжай хоть в Америку, да будь счастлив». Добрый бабушка! Поэзия жизни для него не существовала. Мечтать, предчувствовать было не его делом. Казалось, он всю жизнь развивал одну тему: «по-моему, это справедливо; я этого непременно хочу – и это непременно будет». Постоянным девизом его была поговорка: «Что посеешь, то пожнешь». Много, неотступно трудолюбиво сеял он на веку, но много ли пожал и каких плодов? Зато чуткое сердце матери вещим голосом отозвалось в последнее время. «Друг мой! – говорила она, взяв меня за руки и со слезами глядя мне в лицо, – дай мне в последний раз налюбоваться на тебя; дай еще раз расчесу твои густые волосы. Сердце чует, что расстаюсь с тобой навеки».

Так прошло недель пять. Получив письмо от Моревы, я прочел его бабушке.

– А за куропатками-то советую тебе пореже. Служба, служба и служба, а эти куропаточники-то – дешевенький народ. Нынче куропатки, завтра куропатки, toujours perdrix[39], а потом что? Нет, нет... Надо тебе, однако ж, до отправления, к сестре съездить. Пусть они будут передо мной виноваты. Вот племянница-то в двух шагах мимо дома проехала. Что? нездоровая? Сиди дома. Это непристойно – попросту сказать. А я вот пошлю лошадей на подставу. Сядешь в коляску, откатаешь – ан дело-то и сделано. Да ведь нет, нет! с людьми так жить нельзя.

Часу в одиннадцатом утра въехал я на широкий двор Мизинцева. Ничего не могу узнать. На месте старого дома новый, довольно большой флигель. Кругом какие-то домики, как будто сердясь, отворачиваются друг от друга, а против середины двора стоит, подавляя всю мелкую братию величию затей, недостроенный деревянный коллизей. В окнах, как и следует у коллизея, рам нет, и по узким доскам, которыми попереки забиты эти окна, можно предполагать, что деревянное чудовище уже предоставлено собственной судьбе. «Куда тут ехать?» – спросил я какого-то малого. «А вот налево-то, к новому фигурю. Там барин живет, а в большом-от старая барыня да молодая».

Аполлона я застал в комнате, которая представляла все что угодно: спальню, кабинет, приемную, гостиную. Стены и кровать завешаны дорогими варшавскими коврами. На зеленом столике серебряный ручной мойник с таким же прибором. На стенах, в золотых рамках, литографии двусмысленного содержания и достоинства. Затеяливая мебель, рабочий стол и на нем бумаги, помада, счетные книги, фиксатуар, духи, романы, рижские пурки, овес, пшеница; на окнах гречиха и ячмень.

Хозяин встретил меня в красной рубашке, точь-в-точь, как рассказывал Морев. Широкие зеленые шаровары в сапоги. Вокруг голой, растолстевшей шеи эластический шнурок и на нем стеклышко.

– Ба, ба, ба! Какими судьбами? – запищал Аполлон, завидя меня. – Насилу завернул в нашу сторону!

– И то ненадолго, – отвечал я, – приехал взглянуть на тебя, поклониться тетушке, да и в полк. – Поздравляю, поздравляю!

– Позволь мне переодеться. Хочу сейчас же идти к тетушке.

– Не ходи, братец, лучше...

– А что? разве тетушка нездорова, не принимает?

– Нет, тебя-то примет; да я советовал бы лучше не ходить. Там такой ералаш!

Тем не менее минут через пять я был уже в боль-

шом флигеле.

– Вот сюда пожалуйста, – сказал постаревший Андриан, отворяя мне дверь.

Софья Васильевна быстро скрылась при моем появлении. Тетушку я застал в серизовом шелковом платье, сидящую на диване. Глаза у нее были красны; на щеках еще оставались следы слез. С правой стороны дивана, на кресле, сидел большого роста пожилой человек, довольно плотный, но с необыкновенно тонкими чертами лица. Тетушка представила меня Чернецову. Несмотря на ее обычные «а, а!» и «о! о!», разговор не клеился, и я, заметив, что попал точно не вовремя, скоро раскланялся и ушел.

– Кто этот Чернецов? – спросил я Аполлона, воротись в его комнату.

– А! ты про Донкишота этого спрашиваешь: родной братец моей любезной тещи. Нечего сказать, славная семейка! Один другого стоит. Как же! нельзя! Нужный человек! Ты видел там у крыльца-то какой дормез? Да я плевать на них на всех хочу. Моя-то дражайшая половина нажаловалась, что ли, на меня. Ты знаешь мою деликатность. Я не способен вмешиваться в эти дразги. Вот он ее теперь увозит – и слава богу: скорей со двора. А меня пусть извинят – не пойду прощаться.

Долго еще Аполлон варьировал на эту тему. Желая скрыть свое волнение, я перелистывал какой-то

французский роман. Через несколько времени послышался легкий стук экипажа.

– Ну, слава богу, – взвизгнул Аполлон, – наконец я сделаюсь опять человеком!

Но стук все приближался и наконец смолк у крыльца.

– Что это такое? – спросил Аполлон, уставясь на меня.

Я сам был не менее изумлен. Дверь в комнату растворилась, и на пороге появилась огромная фигура Чернецова. Он быстро окинул комнату глазами и, оборотись назад, сказал вполголоса:

– Войди, Софи.

Молодая женщина вошла. Никогда я не забуду ее в эту минуту. На ней, как говорится, лица не было, а между тем, чего не было на этом лице: и стыд, и скорбь, и отчаянье! Ожидая неприятного объяснения и чего доброго, какой-нибудь катастрофы, я начал пробираться к дверям.

Заметив мое движение, Чернецов быстро схватил меня за руку.

– Извините, молодой человек, – сказал он, – что, не имея чести короткого знакомства, я распоряжаюсь вами в таком важном случае. Вы хотите уйти, а я, напротив, прошу вас остаться. Пусть между нами будет если не судья, то, по крайней мере, посторонний сви-

детель.

Что ж мне было делать? Я поклонился и остался.

– Аполлон Павлыч! – сказал Чернецов самым вежливым тоном, – мы пришли к вам за последним словом.

– Хотя я имел честь, – перебил Аполлон, нарочно утрируя вежливый тон, – сказать вчера мое последнее слово и madame и Софье Васильевне, тем не менее, желая быть вам приятным, готов повторить его снова.

– Вы непременно хотите оставить вашу дочь у себя? – сказал Чернецов.

– Непременно, – отвечал Аполлон, кланяясь, – это мое право.

– Я не думаю оспаривать ваших прав, не прошу вас сжалиться над несчастной матерью – это было бы напрасно, и я не пришел бы за этим, зная, как глубоко вы ненавидите мою племянницу. Обращаюсь к вам с другими доводами. Извините мою откровенность. Вашу ненависть к жене вы, кажется, ни перед кем не скрываете, но, по некоторым словам, сказанным вами вчера, я заключаю, что вы не менее равнодушны и к дочери. Подумайте: оставляя ее у себя, вы делаете жестокость, которая не только не принесет вам никакой пользы, но даже будет вам же самим в тягость.

– Благодарю вас за откровенность, – взвизгнул Аполлон, встряхнув скобкой и цинически улыбаясь, –

буду отвечать вам тем же. Не скрываю перед вами моего равнодушия к дочери, но замечу: в вашей прекрасной речи вы забыли об одной вещи – о моей матери. Всякий пожилой человек имеет свои слабости. Вы любите спасать и покровительствовать, а моя мать любит воспитывать. Надо же ей какую-нибудь забаву... – прибавил он вполголоса, однако ж так, что все слышали.

При последнем слове Софья Васильевна судорожно закрыла лицо руками и так вскрикнула, что у меня сердце захолонуло.

– Пойдем, пойдем отсюда скорей! – вскричал Чернецов, взяв под руку племянницу, – это ужасный, это страшный человек!

– А я, напротив, жалею, что вы так скоро уходите, – пищал ему вслед Аполлон, задыхаясь от гнева, – вы очень забавны!

Дверцы стукнули, карета уехала. Аполлон, взволнованный, ходил по комнате. В первое время я до того ошеломлен был всем виденным и слышанным, что окончательно потерялся. Мало-помалу, однако ж, мысли мои стали проясняться. Что мне делать? Идти к тетушке – не время и некстати. Это батюшка поймет, если ему рассказать о случившемся; но велеть сейчас же запрягать лошадей и уехать – значило бы сделать некоторого рода скандал, которого батюшка не про-

стит ни в каком случае. Скрепя сердце я принужден был обожждать хотя столько, чтоб отъезд мой не имел вида разрыва. Волнение Аполлона тоже приутихло.

– Однако ж, – сказал он, остановясь среди комнаты, – соловья баснями не кормят. Будем обедать! Эй! накрывайте на стол! – крикнул он, выходя в переднюю, и вслед за тем послышался его шепот. – Да проворней поворачивайтесь! – громко прибавил он, входя в комнату.

Минут через пять два молодые лакея, которых прежде я никогда не видал, внесли четырёхугольный складной стол. Нельзя сказать, чтобы слуги эти были особенно опрятно одеты. У одного узкий сюртук, вероятно с барского плеча, лопнул под мышкой, у другого на одной ноге штаны были сверх сапога, а на другой в сапоге. Накрывать небольшой складной стол принесли голландскую скатерть, на которой удобно могли бы обедать, по крайней мере, человек пятьдесят. Уж чего не делали с этою скатертью! и подворачивали-то ее по всем углам, и завязывали вокруг ножек, а все она еще лежала на полу. Серебра натаскали целый ворох.

– Какое ты пьешь вино? – спросил Аполлон, – красное, белое? крепкое? шипучее?

– Всякое, или, лучше сказать, никакого.

– Подай самого лучшего! – взвизгнул хозяин, обращаясь к лакею с прорехой под мышкой.

Мы сели за стол. Мизинцевская кухня в продолжение восьми или девяти лет мало подвинулась вперед.

Правда, блюда стали еще затейливее, явились новые термины: фрикандеи, суп с гнилями, маинесы, говядина превратилась в бафламут; но сущность осталась вся та же. Волос и тряпок в ней, кажется, еще прибыло. Лучшее вино оказалось до половины отлитой бутылкой, пополненной жидкостью неопределенного цвета. К счастью, благодаря предшествовавшей сцене аппетита у меня не было никакого; кусок не шел в горло.

– Человек! прикажи моему кучеру запрягать и подавать.

– Куда ж ты так скоро? Ночуй у меня.

– Нет, извини, брат, через четыре дня еду на службу; поэтому тороплюсь. Передай тетушке мое уважение и скажи, что я не хотел ее беспокоить.

Я вернулся домой. Еще несколько дней – и новая разлука. Кажется, давно ли, точно так же на неопределенный срок, покидал я родные места? Места те же, люди те же; но есть ли какое-нибудь сходство в чувстве тогдашнем и теперешнем? Отчего мне так не хочется, отчего мне жаль уезжать?..

–

Давно не видал я этой тетради. Вот уже лет пять лежит она в числе прочих бумаг на столе, под кобурны-

ми пистолетами – нашем походном пресс-папье. Она начата, когда еще живо было во мне впечатление последней сцены в Мизинцеве, но теперь, когда оно побледнело и заменилось новыми, которые возбуждены близкими утратами, мне как-то странно видеть эту рукопись. На что? для кого она? что она доказывает? Разве справедливость стиха: «Как наши годы-то летят! «Пойдешь, бывало, на ординарцы к начальнику, да как он скажет: «Славно, Ковалев! Все, что я слышу, меня радует. Прекрасный будет офицер!» – так целый день готов делать приемы саблей и карабином. Кажется, это было за несколько недель, а вот уж шестой год, как я офицером, и два года каждый день кричу то же, что тогда кричали мне: «Корпус назад! колено назад! каблуки вниз! повод ближе к шее! смотреть между ушей, подбородка не вешать!» Но еще раз: кого это может интересовать? Разве товарищу прочесть на сон грядущий, а может быть, и С-вой. Она почти еще дитя. Но преумное и милое... К чему я ее тут приплел? Это глупо. Баста! Прощай, тетрадь! Ступай опять под пистолеты...

—

Опять на родине! Сколько раз завидовал я поэтам! Что за чудный дар сказать самую простую речь, которая, при известных обстоятельствах, каждому так и просится на язык, так и ложится под перо! Вот

и теперь так и хочется продолжать: «Я посетил тот мирный уголок...» Кто не пережил, подобно мне, воротись, после долгого отсутствия, опять на родину, во всех родах этого стихотворения? «Уже старушки нет...»

Какая полнота и верность! какой напев! а между тем ни одной рифмы. Поставьте одну – и все пропало. Как бой часов прогоняет ночного духа, одна рифма – звонкий отголосок действительности – рассеяла бы задумчиво-сладостный, безмятежно-грустный сон давно минувшего. Говорят: следы сабельных ударов украшают мужественное лицо воина. Если это правда, то не как темно-красные полосы украшают они его, но как живая вывеска отваги, смотревшей прямо в глаза смерти, и силы, перенесшей жестокие удары. Не то же ли с нашим сердцем? Не потому ли воспоминания его тем слаще, чем глубже некогда оно было уязвлено? Не оттого ли так весело и больно тревожить язвы старых ран? Казалось, если б не дела, не поехал бы я домой: незачем! Дом пустой; одних уж нет, а те далече... Выходит, не то. Я здесь молодею многими годами. где-то теперь Василий Васильич? Где Сережа? Вот сиреневые кусты, под которыми ловились синицы. Вот Старые липы. Как-то они потемнели и шепчутся между Собою. На днях был у меня Морев и упросил приехать к нему. На замечание,

что ни я, ни мои люди не знают к нему дороги, он принялся ее толковать:

– Знаешь, верстах в сорока постоянный двор, на большой проселочной дороге?

– Знаю.

– Помнишь, на десятой версте, за ним дорога разделилась: одна пошла направо, к Мизинцеву, а другая налево, ко мне. Только ты по ней не езд: верст пять крюку будет, а будет с нее направо полевая дорога, так ты по ней поезжай. Отъедешь версты четыре, увидишь церковь направо, а там всякий мальчишка тебе скажет, где Дюково.

В условленный день, на десятой версте за постоянным двором, мы повернули налево. При первой полевой дороге вправо я велел кучеру свернуть на нее.

– Должно быть, эта дорога не туда; что-то она больно вправо заворачивает, – пробормотал кучер.

– Пожалуйста, не умничай; сказано вправо, и поезжай вправо.

Лошади пустились большой рысью.

– Кажется, Петр Петрович изволили говорить: до церкви четыре версты – а мы проехали верст шесть, а церкви не видать, – отозвался сидевший рядом с кучером Семка.

Проехали еще версты две; показалась церковь.

– Попасть-то попадем, – забормотал снова кучер, –

только в Мизинцево, да с другого конца.

– Что ты врешь! – закричал я, – Мизинцево осталось вправо.

Когда мы подъезжали к церкви, навстречу нам попалась дворовая девочка, лет десяти.

– Куда ж ты несешься? Надо, по крайней мере, спросить.

Кучер остановил лошадей и оборотился в ту сторону, по которой шла девочка, с выражением лица, ясно говорившим: посмотрим, мол, что из этого будет?

– Послушай, умница! какое это село?

– Мизинчево, – отвечала девочка, картавя.

– А дома барин?

– Нету-ш.

– Кто ж дома?

– Шталая балиня дома-ш.

– Пошел на барский двор! – сказал я, на этот раз не очень громко.

Во флигеле Аполлона перемены почти никакой не оказалось. Та же комната, та же мебель, бумаги, духи, пурки, романы, овес и проч. Только разве ковры несколько полиняли.

– Семка! приготовил ты мне сюртук со вторыми эполетами?

– Готов-с.

– Давай мне бриться! Ну, что ж ты стоишь?

– Виноват.

– Что такое?

– Забыл бритвы захватить.

– Эх, брат! Мы с тобой не минем никуда поехать без того, чтоб чего-нибудь не забыть! Ты хоть бы у здешнего человека спросил Аполлона Павловича бритвы.

– Спрашивал, да нету-с. С собой увезли, а здесь все на замок-с.

– Однако не пойду же я к тетушке с такою бородой.

– Совсем мало заметно-с.

– Ступай и принеси мне бритву – понимаешь?

Семка ушел. Со скуки я взял какой-то роман Сю, кажется, «Le sept peches capitaux»[40]. Перевернув две-три страницы, вижу, на атласной бумажке с кружевным ободком и цветной виньеткой, записку, начинающуюся словами: «Mon ange! Votre femme est une indigne»[41]. Я захлопнул книжку и бросил на стол. Явились бритвы.

– Доложили ли тетушке о моем приезде?

– Докладывали-с; приказали просить-с.

– А куда идти? Через двор, в большой флигель?

– Точно так.

Немудрено было мне отречься от Мизинцева! Когда-то желтая решетка частью повалилась, частью разобрана на дрова; старый сад вырублен, и на месте его торчат какие-то палки; пруд почти высох; дерев-

ня по другую сторону почернела и, кажется, присела к земле; по выгону бродят тощие крестьянские клячи. Собственно барский двор кругом зарос исполинским репейником и лопухами. Колизей от времени и дождя принял пепельный цвет и, как мрачный циклоп, смотрел на деревню своим черным слуховым окном. В просветах между поперечными досками, которыми заколочены прочие окна, тучи галок кричат и хозяйничают. Немудрено, что их такое множество: верно, во всей губернии не найдется для них удобнейшего помещения. Тетушку я, как и в последний раз, застал на диване. Незатейливые рукава ее холстинкового платья стали так коротки, что она принуждена была втягивать в них свои сухие, жилистые руки, вроде того как это делают ребяташки на морозе. На окошке лежала книжка с картинками, а рядом с тетушкой, на диване, сидела большая серая кошка, лениво щуря зеленые глаза. Тетушка решительно не переменялась. Не сдвайся у нее этого горба, можно бы сказать, что она стала еще моложе и проворней.

– О, мон шер невё![42] давно ли в наших местах?

– Очень недавно, тетушка!

– О! о! о! (град поцелуев) о! о! о! (новый град поцелуев). Прене плас[43]. У! у! полковнички! Кель ранг аве ву?[44]

– Штаб-ротмистр, тетушка.

– О! о! ком се бьен! Ком са ву фет онёр?[45]

– Как здоровье маленькой Саши?

– О! о! ком ву зет эмабль![46] она уже большая девица! – и вслед за тем раздался голос тетушки: – Шушу! Шушу! Кеске ву фет? Вене иси![47]

На зов явилась девочка лет шести, довольно чисто и даже нарядно одетая. Это был живой портрет матери, какую я видел ее в первый раз: те же голубые глаза, тот же цвет волос, то же круглое, свежее личико и та же робость в движениях.

– Шушу, фет вотр реверанс а вотр тре шер онкль!
[48]

Девочка присела. Я взял ребенка за руку, подвел к себе и поцеловал в щеку.

– Шушу! Шушу! кеске ву зет? – продолжала тетушка. Девочка молчала. – О! о! у! у! Кеске се? Репонде! кеске ву зет?[49]

Девочка отступила два шага от моих колен, скрестила руки и, смотря на меня блестящими от слез глазами, проговорила:

– Je suis une pauvre malheureuse! Mon tres-cher papa ne m'aime, ma chere maman m'a abandonnee[50].

– Э, ки ески ву рест[51], Шушу? – спросила тетушка, поддельваясь под жалобный голос ребенка.

– Je n'ai que ma tres chere gran'maman[52], – сказала девочка, и две крупные слезы покатались по ее круг-

лым щекам.

– О! о! ком се бьен![53] – сказала тетушка со слезами на глазах, глядя внучку по голове. – Але жуе![54] О! о! какой он! Не поверишь, полковнички! Не могу порядочной прислуги иметь. Иль э си мове сюже[55], – прибавила тетушка, улыбаясь сквозь слезы. Но элегический тон увлек тетушку.

– Иль не ме донь рьен, – продолжала она, всхлипывая, – э кельк фуа иле тре гросье[56]. – Проговорив последнее слово едва слышно, старушка как будто испугалась. Она быстро вскочила с дивана и, целуя воздух, бросилась было ко мне с словами: «У! у! полковнички!» – но, сделав два шага, перевернулась, проговорив особенным тоном: кошка, капошка – монтре ла ланг[57] – мои крошечки!

Серая кошка раскрыла глаза, зевнула, лизнула себя по носу и выставила розовый язык. Было довольно поздно, и я решил переночевать в Аполлоновой комнате, приказав Семке разбудить пораньше. Часов в семь утра Семка вошел ко мне, неся на подносе кофе.

– Велел запрягать?

– Запрягают-с. Вот щенок – так щенок!

– Что ты говоришь?

– Щенок отличный, английский-с.

– У кого?

- У ихнева повара-с.
- Что ж? он продает его?
- Продает-с.
- Скажи, чтоб показал.

Минуты через две, заспанный и взъерошенный малый, в сюртуке неопределенного цвета, привел щенка. Щенок оказался точно недурен.

– Что ты за него хочешь?

– Помилуйте-с, я не смею с вами торговаться. Что пожалуете-с.

– Ну, так не надо.

– Двадцать целковых следовало бы.

– Двадцать – дорого, а десять дам.

– Извольте, с моим удовольствием-с. По знакомству от егеря достался; а то нам, признаться, и держать нельзя: у барина настрого заказано-с, чтоб им-то, извольте видеть, не было, дескать, от нашего брата часом какой обиды-с.

– Семка! это наш колокольчик позвякивает?

– Наш-с.

– А что я тебе вчера говорил?

– Я ему сказывал-с. Говорит, с колокольчиком веселее.

– Поди скажи, чтоб подвязал до церкви – я пешком пойду, а там развяжет, коли уж так ему хочется ехать с колокольчиком.

Утро было пасмурно, и деревня казалась мне еще серей и мрачней вчерашнего. Зеленая ограда около церкви исчезла. На кладбище черная деревянная решетка вокруг могилы Павла Ильича повалилась. Бедный дядюшка! что бы он сказал, если бы...

Семейство Гольц

I

Лет сорок тому назад аптеку в Кременчуге содержал некто Александр Андреевич Зальман. Высокого роста, красивый брюнет, Зальман обладал всеми качествами для успеха у женщин известного склада. С видом глубокомыслия и страстности он постоянно говорил о Шиллере, Гете, Байроне и т. п., и немногие догадывались, как, в сущности, он мало понимал тех, о ком говорил с таким жаром. Он был ревностным гомеопатом и, когда образованные покупатели являлись в аптеку за лекарством, обыкновенно говорил: «Охота вам брать эту дрянь. Это только пачкотня, портящая желудок. Я вам дам несколько крупинок или капель асонитум или пух vomica[58], и, верьте, вы будете здоровы». Успехи нередко сопровождали гомеопатические лечения Зальмана; его призывали в качестве врача иногда верст за сто от города, и своей практикой он вознаграждал недочеты по аптеке. Жена его, образованная женщина и хорошая музыкантша, с своей стороны способствовала домашнему благосостоянию, давая уроки на фортепиано. Эта серьез-

ная, строгая женщина мало обращала внимания на проделки мужа и ревностно занималась воспитанием единственной дочери – Луизы.

Когда Луизе исполнилось шестнадцать лет, мать вывезла ее в Собрание на бал. Прекрасная блондинка произвела своим появлением фурор. На ней было воздушное белое платье, все перевитое плющом. На голове была тоже легкая ветка плюща, спускавшая подвижные концы свои на плечи маленькой феи. Многочисленные поклонники совершенно закружили девушку в бесконечных вальсах и галопах. Но особенное впечатление произвела молодая девушка на одного весьма некрасивого господина небольшого роста, черного как смоль? который, не танцуя, весь вечер простоял за стулом г-жи Зальман и как-то хищно следил глазами за порхавшею по зале Луизой. По расспросам он оказался ветеринарным лекарем из города К..., по фамилии Гольц. Начавшееся на этом бале его настойчивое преследование продолжалось целую зиму. Девушке, когда она являлась в Собрании, Гольц казался каким-то зловещим вороном, мать бегала от него по всем углам залы. Наконец сезон окончился. На следующую зиму m-me Зальман, рассудив, что молодежь рада вертеться около хорошенькой девушки, но не скоро решается избрать подругу жизни без приданого и что им далеко не по средствам вы-

езды на балы, не повезла дочь в Собрание. Взволнованный отсутствием предмета своих преследований, Гольц, после трех вечеров напрасного ожидания, утром отправился в аптеку к Зальману. Александр Андреевич принял его в лаборатории с глазу на глаз и, вероятно, наговорил фраз вроде «очень рад, об этом надо зрело подумать, благодарю за оказанную честь» и т. д. Дело, однако, на этом не остановилось. Не добившись толку от отца, Гольц стал искать свидания с матерью. . Та долго его не принимала, но однажды утром, выведенная из терпения его неотвязчивостью, решила отказаться ему раз навсегда. За просторной гостиной, служившей хозяевам в то время и столовой, была небольшая комната, где под окном стояли пьльцы. Когда г-же Зальман объявили о приходе Гольца, Луиза сидела за пьльцами. Не желая принять незваного гостя в столовой, хозяйка заперла за собой дверь и пригласила его в узкую диванную, отделившую собственно аптеку от хозяйского помещения. Выслушав стремительные объяснения Гольца, мать Луизы сперва ограничилась вежливо сухим и решительным отказом, но когда Гольц, ссылаясь на обещания, данные ему Александром Андреевичем, стал говорить, что так нельзя делать, что это недобросовестно, она, высказав все неприличие его поступков, попросила его оставить комнату и не являться более в

их дом. Услыша эти речи, Гольц вскочил со стула и, тыча пальцем вниз, закричал во все горло по-немецки: «Хорошо, gnadige Frau[59], я уйду, но я говорю, она должна быть и будет моею во что бы то ни стало! Es muss biegen oder Brechen»[60]. С этими словами он скрылся в аптеку и, хлопнув дверью, вышел на улицу. Вернувшись в комнату, мать застала Луизу дрожащую всем телом и рыдающую над пальцами.

– Ты подслушивала? – спросила она дочь.

– Нет, мама, я не вставала с места, но он так громко кричал, что я слышала последние слова.

– Это все я виновата! – воскликнула мать. – Я всегда была против этих выездов. Это меня сбили с толку. Бедной и порядочной девушке выезжать на эти балы даже непристойно. Точно константинопольский базар. Успокойся, перестань плакать, – теперь все пойдет хорошо. Я одна виновата, и верь, мне больнее, чем тебе.

В ту же зиму, простудившись на уроках, г-жа Зальман слегла в горячке. Крупинки не помогли. Через две недели ее не стало. На похоронах Луизу нельзя было оторвать от гроба матери. Она едва не помешалась от горя. Что касается до Александра Андреевича, то со смерти жены он совсем отбился от дому. Молодая, неопытная девушка, как не вполне оперившаяся птичка, сиротливо жалась по углам опустелой кварти-

ры. Между тем Гольц, услышав о смерти матери, стал снова появляться в аптеке. В такие минуты девушка просто запирала двери на ключ и, рыдая, на коленях молилась богу и призывала на помощь безответную тень матери. Ее нельзя было узнать. Из веселой, одушевленной она стала пугливой, задумчивой. В такой истоме прошла зима. После святой недели по городу разнесся слух, что Александр Андреевич женится на известной в городе красавице Anastasie Заболоцкой. Нареченная Зальмана попала в дом своего дальнего родственника, старого и богатого помещика Коваленко, почти одновременно с его женитьбой на молодой соседней барышне. Коваленко, страстно любя свою жену, не отказывал ей в светских удовольствиях, которым та, за неимением детей, предавалась со всем пылом молодости, боящейся одиночества. Великолепный дом их на берегу Днепра, в нескольких верстах от Кременчуга, был постоянным сборищем блестящей молодежи обоего пола. Обеды, танцы, катанья в катере, фейерверки в старинном саду, кавалькады и зимние катанья по льду в санях тянулись веселой вереницей круглый год. Anastasie, несмотря на личную бедность, являлась в этом кругу звездой первой величины. Стройная, черноглазая брюнетка, с золотистым, цыганским загаром на щеках, она решительно затмевала свою хорошенькую тетеньку. Рев-

нивый старик, втайне радуясь такому положению дел, хотя и не обеспечивал будущности своей племянницы, но окружал ее той роскошью, которая соответствовала ее положению в доме. Начитавшись модных романов Занда, и без того пылкая Anastasie приобрела по всему околотку репутацию эксцентрической особы, но мужа не приобрела. Красавице минуло двадцать пять лет. Золотистый отблеск лица стал иногда отдавать неприятною желтизной. Anastasie догадалась, что ей нечего более ожидать от настоящей жизненной обстановки, и обратила милостивое внимание на Александра Андреевича.

Однажды после обеда Зальман вернулся домой. За вечерним самоваром он, против обыкновения, не сел за стол, а, шагая взад и вперед по столовой, пустился в какие-то отвлеченности.

– Да, – говорил он, – нынешние женщины не понимают своего настоящего, высокого призвания. Даром в природе ничего не бывает, и даром носить красоту – значит, унижать ее, а значение красоты велико. Ведь красота-то диких зверей укрощает. Ты хоть бы Maurgat прочла и серьезно подумала о своих поступках. Ведь так жить нельзя, как ты живешь. Это не жизнь, а самоубийство, и т. д. в этом роде.

Весь этот монолог весьма смутно остался в воспоминании Луизы. На другой день, часов в двенадцать

утра, проходя через столовую, Луиза явственно услышала в аптеке громкое восклицание отца.

– Ах, боже мой, кого я вижу!

«Опять Гольц», – как молния блеснуло у ней в голове, и, дрожа как в лихорадке, она, почти бессознательно, плотно притворила дверь и повернула ключ в замке. Из аптеки приближались шаги. Кто-то повернул ручку, но дверь, разумеется, не отворилась. Кто-то сильно потрясал дверь. Луиза стояла перед дверью, с трудом переводя дыхание и едва понимая, что происходит.

– Кто это запер дверь? – раздался сердитый голос отца. – Луиза, что там за глупости? Отвори сейчас, я тебе приказываю.

Луиза машинально повернула ключ, и в распахнувшуюся дверь, вслед за взбешенным отцом, вошла стройная брюнетка вся в черном. Длинная, кокетливо приподнятая амазонка следовала за нею пышным шлейфом. На роскошных, черных волосах, подобранных в кружок, напоминавший прическу средневекового пажа, красовался, наложенный набекрень, черный бархатный берет с белым пером. В руках амазонка держала тонкий хлыстик с серебряною рукояткой. Растерявшаяся Луиза с тупым изумлением смотрела на незнакомку, последняя была не менее поражена испуганным видом девушки.

– Однако, – полушутя воскликнула амазонка, щу-
ря на девушку свои сверкающие глаза, – мой милый
Александр Андреевич, это не совсем любезный при-
ем вашей будущей хозяйке! Я знаю, мне от дяди силь-
но достанется за бедную Juili, которую я порядком из-
мучила, проскакав почти семь верст без отдыха. И для
чего же? Для того, чтобы мне пред самым носом за-
перли дверь! Но я не злопамятна, – прибавила она с
улыбкой, протягивая руку Луизе, которую та, все еще
не опомнясь, пожала механически.

– Настасья Михайловна, – сказал Зальман, стара-
ясь прервать неприятную сцену, – вам угодно осмот-
реть наше помещение?

– Пойдемте, – отвечала амазонка, – покажите мне
ваши комнаты, Александр.

И, не обращаясь далее ни к кому, прошла в семей-
ную половину квартиры, куда за ней торопливо после-
довал и Александр Андреевич. Через минуту она сно-
ва появилась в гостиной и через плечо спросила шед-
шего за ней Зальмана:

– Это все тут?

– Все, – вполголоса отвечал последний.

– Послушайте, Александр, – продолжала она, под-
ходя к дивану и хлопая хлыстом по его полинялому
ситцу, – нельзя так оставить этих тряпок! А это что та-
кое? – воскликнула она, стегая хлыстом по большой

столовой салфетке, вязанной из небеленых ниток. – Я вас прошу выкинуть отсюда эту рыболовную сеть. Я ее непременно подарю нашему рыбаку Вуколу. Однако прощайте, мне пора.

Все это она проговорила так скоро, что Зальман не успел вставить слова и рад был, поймав уже пред самой дверью ее руку, к которой жадно прильнул губами.

– Довольно, довольно, – говорила она, вырывая руку. – Вы делаете даже больно, – и, кивнув Луизе своим белым пером, скрылась в дверь, увлекая за собою бесконечный шлейф.

Когда дверь затворилась, Луиза тихо опустилась на диван. Закрыв лицо руками, она крепко прильнула головой к столу и замерла в этом положении. Скорее можно почувствовать, чем пересказать, что в эту минуту происходило в ее душе. «Так вот она, та женщина, которая отныне должна заменить ей мать. Эту самую салфетку, к которой судорожно приникала ее голова, эту драгоценную вещь, над которой покойница мать работала больше года, она насмешливо хочет выбросить вон. Поощадит ли она бедную девушку? Нет, это невыносимо, это невозможно!» – и девушка судорожно зарыдала, забыв все окружающее.

– Луиза! – раздалось над нею.

Девушка, вздрогнув, подняла глаза. Перед нею стоял отец.

– Луиза! – повторил он сурово, – что это за глупые слезы и за неприличное поведение? Я до сих пор не могу прийти в себя. Ты запираешь двери перед людьми, которым обязана уважением, и так беззастенчиво показываешь явную, ничем не заслуженную неприязнь. Как все это мне ни больно, но я рад случаю высказаться перед тобой с полной откровенностью. Может быть, это тебя образумит. Всему причиной несчастное воспитание. Щадя тебя, я ни слова не скажу о сердце твоей матери; но не могу, в видах твоей же пользы, не указать на недостаток твоего воспитания. Мать не сумела развить твоего сердца. Ты своим бессердечием переступаешь мне дорогу, но я этого не потерплю. Слышишь, не потерплю! Слово бессердечие – нисколько не фраза и не преувеличение. Я тебе это докажу. Чем, как ни этим словом, должно назвать упорное сопротивление бескорыстным и, несмотря ни на какие оскорбления, постоянным искательствам честного труженика, преданного тебе до обожания? Что ты можешь сказать против Гольца? Он не красавец, правда, но для мужчины это не важно; не знатен: ты знаешь, как я смотрю на эти вещи; не богат: что на это тебе сказать? Тебе известно, я приехал сюда без копейки, начал настоящее дело в долг, за твою матью не получил ничего, а ты видишь – этот каменный дом мой, у меня есть лоша-

ди и экипажи, и люди меня знают, и все это благодаря тому, что я свято держался правила уважать самого себя, никому не быть в тягость и никому не мешать жить. Я потому так откровенен с тобою, что считаю тебя за умную девушку. Ты поймешь, насколько я желаю тебе добра. Сердце! великое дело сердце! Вы там все умничаете, а забываете, что сказал Шиллер:

«Und was der Verstand der Verstand'gen nicht
sieht

Das ubet in Einfalt ein Kindlich Jemuth»[61].

Эти стихи Александр Андреевич продекламировал, ходя уже по комнате.

– А теперь, – сказал он, подходя к дочери и глядя ее по голове, – перестань плакать, успокойся и будь умница.

Всю ночь затем Луиза провела в каком-то мучительном бреду. Своими беспощадными словами, смысла которых он сам, вероятно, хорошо не понимал, отец возмутил в ней все чувства, надорвал нервы. Мысли ее бродили в каком-то безвыходном лабиринте. «Я люблю отца, – думала она, – и мешаю ему жить. Чувствую, что я всех люблю и желаю всем добра, а выходит, что все меня любят, а я только всем мешаю. Все это какая-то ложь. Отец, может быть, и прав, и мое беспричинное нерасположение к Гольцу, может быть, тоже ложь. Одно ясно и несомненно, ес-

ли я недовольно люблю отца, если я, как он говорит, люблю только себя, то мне нельзя оставаться в этом доме. Кто знает, может быть, судьба действительно посылает Гольца спасти меня? Недаром он сказал: «Es muss biegen oder Brechen!» Вот оно, я чувствую, сердце мое разрывается». После жгучей бессонницы, в продолжение которой все, что могло болеть, переболело в душе девушки, кризис совершился, и к утру она уснула. Проспав долее обыкновенного, она встала как бы другим существом. Она решилась и за кофеем объявила отцу о своей согласии выйти за Гольца. Отец расцеловал ее, называл всеми ласкательными именами и заключил тем, что вчерашние слова его были намеренно преувеличены, а что, в сущности, он никогда ничего другого не ожидал от ее нежного сердца. Словом, мир состоялся полный, и через две недели m-me Гольц была в городке К..., а еще через месяц Александр Андреевич сам ввел в обновленный дом свой жену-красавицу. Правда, он недолго наслаждался счастьем. Неотвязчивые поклонники, которых m-me Зальман принимала с самой откровенною любезностью, заставляли его ежечасно пылать адским огнем бессильной ревности, которая в один год иссушила его до совершенного подобия скелета и окончательно свела в могилу.

II

С первых дней водворения в доме мужа Луиза Александровна ревностно принялась устраивать то домашнее гнездышко, которого она лишилась со смертью матери и в котором ей было когда-то так хорошо. Вкусу у нее было много, а давно состоявший на службе Гольц из порядочного содержания сумел составить небольшой капиталец. В те времена жить в Новороссийском крае можно было на самые небольшие средства. Гвльц нисколько не мешал молодой жене в ее хозяйственных затеях. Ему, очевидно, нравился тот недорогой комфорт, каким она его окружила. Луиза старалась изучить вкусы мужа и, не входя в обсуждение его привычек, служила им с правильностью хронометра. Просыпаясь рано, Гольц любил полежать и даже напиток кофею в постели, – и душистый кофе приносился ему женой в самую раннюю утреннюю пору. Гольц любил обедать в одно время, и суповая чашка дымилась на столе в ту самую минуту, когда стенные часы били четыре раза, и т. д. По причине страшной ревности Гольца супруги не завели себе никакого круга знакомых. Сам он, так как в то время у него еще было много занятий по должности, рано уходил со двора и возвращался только к обеду. Уеди-

ненно просиживая долгие часы над рукоделием, Луиза невольно перебирала в уме свою жизнь. Чего бы не дала она, чтобы покойная мать хоть одним глазком посмотрела на ее хозяйство! Пусть бы она увидела, что я, Луиза, не какая-нибудь бестолковая белоручка. Взглянула бы, как свежи ее плющи на окнах, как у нее все чисто, в каком порядке белье и посуда, какой вкусный готовится бульон и как мастерски стала жарить кухарка, подававшая прежде какие-то засушенные кости. Какая бы это была блаженная минута! Конечно, мать не могла бы видеть того, что было у Луизы на душе, да и сама Луиза не могла ясно дать себе отчет, хотя живо, всем существом своим чувствовала это, – почему между ей и мужем стоит какая-то тень, даже и не тень, а какая-то пустота. Чего-то недостает. Между ними нет враждебности, зато нет и дружбы. Он ревнует ее, стало быть любит; но отчего же она не знает ни его образа мыслей, ни его убеждений? Да и как узнать их? С утра до пяти часов Гольц на службе. После обеда он садится у окна курить трехкопечную сигару, затем пересматривает старые ветеринарные книги, или до чаю принимается за свое постоянное чтение, Мессиаду Клопштока[62]. В девять часов вечера Гольц уже в постели и тотчас засыпает. Впрочем, в короткие промежутки времени, когда жена могла обращаться к Гольцу с разговорами, ей нель-

зя было пожаловаться на его несообщительность. Он охотно говорил о служебных планах или домашнем быте. Сам, с видимым удовольствием, приготавливал, по просьбе жены, шарики для истребления мышей и отраву для мух. По опыту Луиза приноравливалась к симпатиям и антипатиям мужа, но когда разговор наталкивался на объяснения побудительных причин его требований, он сердился.

– Когда человек женится, – объявил он Луизе, – то жена к нему приходит в дом, а не он к ней. Кажется, ясно, punctum[63]. Говорю тебе раз навсегда, и, сделай милость, никогда не приставай ко мне с подобными глупостями.

Через год после свадьбы у них родилась дочь. Луиза сама кормила ребенка. Материнские заботы много развлекли и облегчили молодую женщину, но когда девочка засыпала и она садилась за рукоделье, прежние раздумье и чувство одиночества овладевали ею. На второй год после рождения дочери весна была ранняя и дружная, что в Новороссийском крае не редкость. В начале апреля точно волшебный жезл тронет землю. Снег тает, в воздухе весна; жаворонки, копчики, орлы. Днепр уносит свой громаздкий лед и, разливаясь на целые версты по низменным берегам (плавням), вытесняет из русла все свои притоки. Травка зеленеет, и по затопленным низам буйными кустами

лезет толстый камыш. Важные аисты и осторожные цапли безмолвно стерегут пробуждающихся лягушек. Чайки, кружась, и кувыркаясь над бесчисленными гагарами и утками, стараются высоким фальцетом перекричать их втору, за которой явственно слышны могучие басы оживших черепах. Солнце уже печет. Изредка набежит густое облако и обмоет землю чистым дождиком; затем тот же блеск и тот нее весенний гам. Во время половодья в прибрежных селениях и городах улицы нередко бывают залиты водой, а иногда жителям приходится на лодках переезжать на бивуаки под открытое небо, на соседние возвышенности.

«Но небо здесь к земле так благосклонно»[64].

Неизвестно, находил ли это Гольц, отправляясь весной ежедневно странствовать в воловий парк, где содержались все подъемные животные округа. Разлив рек, как мы уже заметили, был необыкновенно силен. Нижние улицы и городская площадь стояли в воде. Не залитой оставалась одна верхняя, так называемая Полковничья улица, и то в одном месте приходилось переходить через воду. Как ни жался Гольц к забору, но неглубокие калоши его каждый раз в этом месте черпали воду. Однажды утром, снова промочив ноги, Гольц почувствовал нестерпимую зубную боль. Ворочаться домой было далеко, да и не к чему, а идти на службу с такой болью почти не под силу. Вырвать

этот зуб – и делу конец, подумал Гольц. Но кто вырвет?

Здесь необходимо сказать, что заштатный город К... [65], с самого учреждения военных кавалерийских поселений в Новороссийском крае, был центром военного округа, а следовательно, и штабом полка, и в нем одновременно были два ведомства: поселенное, к которому, между прочим, принадлежал сам Гольц, и действующее, то есть полковой командир и 1-й эскадрон поселенного полка. Квартиры полкового фельдшера Гольц не знал, да без докторской записки фельдшер, пожалуй, рвать не станет. Пришлось зайти к доктору, который кстати жил на большой улице, в стареньком, деревянном доме, против единоверческого священника. Так как болевающие нижние чины поступали в военный госпиталь, а офицеры редко хворали, то полковому лекарю положительно делать было нечего. Таким счастливым положением Иринарх Иванович Богоявленский [66] пользовался вполне и в душе благодарил начальство, избавившее его, во внимание к его значительной тучности, от обязанности являться у фронта верхом. Ходить по чужим квартирам Иринарх Иванович не любил. Получив за женой в приданое небольшой дом с садом, Богоявленский постоянно копался в этом саду, который содержал в примерном порядке и даже развел в

нем худо вызревавший виноград. Отяжелев в последнее время, он уже не с прежней ревностью занимался садоводством, а, наблюдая только за плантацией красного перца, большую часть времени проводил в кабинете, изредка заглядывая в древних классиков и перечитывая своего любимца Вольтера. Форменного платья он терпеть не мог. Постоянным его костюмом было широкое, парусинное пальто. Утром и вечером, ища прохлады, объемистый Иринарх Иванович помещался у растворенного на улицу окна. В это время под рукой на столике стояли около него селедка, маленькая рюмочка и графин с настойкой из красного перца, которую он называл *anticholericum*. Небольшие глотки из рюмки возбуждали в Иринархе Ивановиче веселое и созерцательное расположение, но окончательно до пьяна он никогда не напивался. Привлекаемый такой соблазнительной обстановкой, к Богоявленскому с давних пор повадился ходить сосед через улицу, известный всему городу под именем Сидорыча. Худощавый, сгорбившийся брюнет, с воспаленными глазками, Сидорыч, выгнанный из духовной академии за пьянство, проживал у родственника своего, единоверческого священника. Летом он ходил в затасканном длиннополом нанковом сюртуке, а зимой сверх него надевал гороховую фризную шинель в три воротника. Заходил Сидорыч к Богоявленскому только

по утрам, так как вечером, по слабости, не мог этого исполнить, да и Богоявленский бы его не принял. В то утро, когда Гольц, почувствовав зубную боль, решился зайти к доктору, Сидорыч, заметив, что у Богоявленского ставни открыты и доктор уже сидит с расстегнутой грудью у растворенного окна, согнувшись, перешел через улицу и, не подымая головы, робко спросил под окном:

– А что, Иринарх Иванович, можно?

– А! червь злосчастный! – воскликнул Богоявленский, – заходи, ничего!

Сидорыч юркнул в калитку, но, увидав на дворе докторшу, смутился. Женщина в грязном капоте и таком же чепце развешивала на заборе белье.

– Опять! – крикнула она, сердито взглянув на Сидорыча.

– Сам позвал, – внушительно ответил Сидорыч и прошмыгнул в сени.

– С добрым утром, Иринарх Иванович! – сказал Сидорыч, три раза перекрестясь на образ и низко кланяясь хозяину.

– Садись, – сказал Богоявленский, указывая жирным пальцем на грязный кожаный стул. – Рассказывай, что нового в городе и как вчера подвизался по части крючкотворства?

– Алтухину важнейшее, могу сказать, прошение

смастерил и был за то подобающим образом убла-
готворен очищенной. Даже целковнику приполучил;
но «infandum regina jubes renovare dolorem!»[67] по-
падья наша пронюхала и отняла. Орлом на меня,
смиренного агнца, налетела: «In ovilia demisit hostem
vividus impetus»[68] я было вспомнил *reluctantes
dracones*[69], да куда тебе, так и подхватила мой кар-
бованчик. Много, говорит, вас, дармоедов.

– Дома доктор? – спросил Гольц, остановись пред
растворенным окном.

– Дома, пожалуйста! – отвечал Богоявленский.

Через минуту Гольц вошел в кабинет и, объяснив
причину прихода, стал просить записки к фельдшеру.

– Позвольте взглянуть на ваш зуб, – сказал Ири-
нарх Иванович, – ну, батюшка, прибавил он, окончив
осмотр, зуб, на который вы жалуетесь, совершенно
крепок, и рвать его не следует. Вспомните-ка *quae
medicamenta non sanant ferrum sanat*[70]. Так сперва
попробуем *medicamenta*, а *ferrum* – то всегда у нас в
руках. Вот уж сейчас поколдуем. Только с условием –
вполне слушаться врача, коли пришли!

– О, конечно, конечно! – промычал Гольц.

Богоявленский прошел в соседнюю комнату и, че-
рез минуту выходя, вынес кусочек ваты и пузырек.

– Эту штуку вы положите на больной зуб и сяди-
тесь вот сюда на диван. Прекрасно, – сказал он, когда

Гольц уселся на указанном месте, – а теперь потрудитесь снять ваши сапоги.

– Помилуйте, зачем же? – возразил Гольц.

– Помните уговор слушаться – и снимайте. Червь! – обратился он к Сидорычу, – сходи-ка ко мне в спальню и под кроватью поищи валенки, а докторские сапоги и калоши отдай на кухню просушить. Проворней изгибайся! Ну, что ваш зуб? – спросил он Гольца, когда все его распоряжения были исполнены.

– Еще подергивает, но стал затихать.

– Погодите и совсем пройдет. А я очень рад, что хоть этот и пустой случай завел вас в мою хату. Выто меня не знаете, а я вас давно знаю. Вы тут каждый день проходите перед моим окном к должности. Вот, думаю, гордый collega, чтоб этак зайти да перекинуться словечком. Как ни говорите, хоть и в разных местах учились, а все мы дети одной и той же науки.

– Я сам завсегда очень рад, – бормотал Гольц, которому, очевидно, было лестно попасть в коллеги к Богоявленскому. – Ви позволяйте мене, – обратился он к хозяину, – малинька сигара закуривайть?

– Сделайте одолжение, это в настоящем случае даже может быть вам полезно. А что зуб? – спросил он Гольца немного погодя.

– Совсем замолк, – улыбаясь, отвечал Гольц.

– Ну теперь вату-то вон и наливайте рюмочку. Ре-

комендую – anticholericum.

– Не рано ли будить?

– А уговор? Червь! наливай и подавай лекарство.

Гольц выпил, и через минуту приятная теплота пробежала по телу.

– А мне можно червяка-то заморить? – робко проговорил Сидорыч.

– Мори, – отвечал Богоявленский, – да ведь у меня ты его не заморишь, а только раздразишь.

– Редкостнейший, можно сказать, у вас, Иринар Иванович, опрокидант, – воскликнул Сидорыч, осушив полную рюмку.

– Ведь вот, даром что червь, – сказал Богоявленский, указывая на Сидорыча, – а тоже одного с нами поля ягода. Отлично учился, да своего-то запаса больно скудно и тот на шкалики разменял. Вот и вышел червь-ничтожество.

– Это вы сатиру Персия вспомнили: «Ex nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti»[71], – продекламировал Сидорыч.

– Молодец червь! Удивительная у него память! – обратился Богоявленский к Гольцу. – Только заведите, так и засыплет цитатами. Ведь чем дороги древние? Вон за него даже думают. Так сболтнул, а возражение во второй половине стиха вышло превосходное. Коли ничто не может обратиться в ничтожество, стало

быть, и Сидорыч не nihil[72].

– Как вы это прекрасно повернули! – вставил Гольц.

– А между тем вам пора лекарство принимать.

– Не много ли будет, я право... – мямлил Гольц.

– Полноте, вы мужчина, да еще бывший бурш.

Вспомните-ка старину.

– Да, да, точно. О! – отвечал Гольц и ослабился, поддаваясь набегавшему на него веселью.

– Червь, repeticio![73]

– Est mater studiorum[74], – докончил Сидорыч, наливая Гольцу рюмку.

– Вы, верно, еще не забыли по-латыни? – спросил Гольца Богоявленский.

– О, да! о, да! Я очень. Ви продолжайте, я с большим удовольствием.

– А все-таки, – перебил Богоявленский, – я хотел вам попенять; я постоянно наблюдаю за вами. Вы слишком углублены в самого себя. Это, с одной стороны, делает вам честь: истинная мудрость сосредоточенна, а с другой – угрожает апатией. Положим, вы ни у кого не бываете из этих лоботрясов.

– О, ви совершенно правду! Я никуда и ни к кому, – воскликнул Гольц, явно обрадовавшись случаю вставить слово.

– Я тоже у них не бываю, – продолжал Богоявленский, – но ведь у нашего брата ничем не заморишь по-

требности созерцания. Мы не перестаем, как говорит Цицерон, *ardere studio veri reperiedi*[75], и поэтому-то нам, людям науки, не следует забывать друг друга. Вспомните, много ли со школьной скамьи вам пришлось встретить людей, способных понять и оценить вас; а ведь все, что нас окружает, – филистерство.

– Ах, право, как вы все это прекрасно! Это я тоже и вспомнил; в Горацие есть: «*Odi profanum*»[76]. Мне очень, очень приятно. Я бы здесь у вас, только мне пора на службу.

– Куда вы так спешите? Дело не медведь, в лес не убежит, – возразил Богоявленский. – Червь! как это там у Горация про службу-то сказано!

– *Quis post vina gravem militiam aut pauperiem crepat?*[77] – скороговоркой отхватал Сидорыч.

– Нет, право, мне очень приятно, но мне пора. Теперь до парк все сухо, – сказал Гольц.

– Пожалуй, и сапоги ваши пообвяли. Сбегай в кухню да принеси-ка их, – обратился Богоявленский к Сидорычу, – что с вами делать, коли вы такой ретивый.

Обуваясь, Гольц отвернулся к другому окну и, пошарив в кармане, приготовил ассигнацию. При прощании, взяв Богоявленского за руку, он незаметно вложил в нее бумажку.

– Это что такое? – воскликнул Богоявленский. – Это вы уж, пожалуйста, оставьте. Я и с своих лоботрясов

никогда не беру, а вы collega. Это даже обидно. А вот посошок на дорожку я вам отпущу. Налей-ка рюмочку, – сказал он Сидорычу.

Гольц было замялся.

– Нет, уж как угодно, лечение должно быть окончено. Тут кабалистика есть. Больше и просить не стану.

Tres prohibet supra

Rixarum metuens tangere Gracia[78].

Гольц выпил и со словами: «очень, очень много благодарю» – вышел из комнаты. Проходя по тротуару, пред окном, он приподнял фуражку и снова раскланялся с Богоявленским.

– Не забывайте нас, – крикнул Иринарх Иванович.

– Помилуйте, непременно, непременно! – бормотал Гольц, снова приподымая фуражку.

– Ну, что, червь, – спросил Богоявленский, – как тебе понравился новый collega?

– Вы всегда так, Иринарх Иваныч, – выпытываете да после на смех. Мое дело цитату сказать, а какой я судья, да и к чему мне судить, когда почище меня люди судили. Еще Овидий сказал: «Vos stetit»[79].

– Ты сегодня просто мудрец, – расхохотавшись, воскликнул Богоявленский. – Сто лет думай, ничего лучше твоего bos stetit не придумаешь. Вот заскорузлая личность! А для меня, признаться, интересный субъект. Надо бы эту улитку заставить выпустить рож-

ки.

Умильно посматривая на графин, Сидорыч было снова заговорил о *repetandum*, но положительный отказ убедил его, что ему ничего более не дожидаться от своего несговорчивого мецената.

Три рюмки крепкой перцовки и лестное соприкосновение с миром, которого нравственное превосходство он смутно чувствовал, привели Гольца в восторженное состояние. Это было какое-то беспредметное и бесплодное вдохновение. Никогда не испытывал он такого сладостного самодовольства. То чувство безотчетного благоговения пред непонятно-высоким, которое заставляло его всю жизнь перечитывать Мессиаду, проступило теперь с удвоенною силой. Он давно слышал про ученость Богоявленского, а тут сама судьба привела его в этот мир. Один Богоявленский сразу оценил его: «*Das ist ein Kerl! das ist ein Kerl!!*» (вот молодчина), – повторял он про себя. Ему хотелось петь «*Odi profanum*», «*Nox erat*», «*Sidera somnias*»[80], – твердил он, нападая на бессвязные обрывки чего-то давно забытого. «*Das ist ein Kerl! Odi profanum*». Как жаль, что по пути чрез слободу он не встретит никого из тех, кого Богоявленский называл лоботрясами. Теперь бы он, *collega*, показал им, как он смотрит на них. Эта мысль сильно ему понравилась. За неимением лоботрясов он несколько

раз примеривал презрительную улыбку, проходя мимо хат, на крышах которых аисты о чем-то хлопотали, круто загибая назад красноносые головы. У одной калитки стояла молодая поселянка. Искушение было слишком сильно. Перед самым ее носом Гольц скорчил презрительнейшую улыбку. «Бачь, який скаженюка!» – воскликнула поселянка, но Гольц был уже далеко.

III

Хотя на другое утро Гольц не был в том лирическом настроении, в каком накануне ушел от Богоявленского, тем не менее, поравнявшись с растворенным окном доктора, он с удовольствием согласился на приглашение хозяина зайти. В комнате все было по-вчерашнему. Даже Сидорыч сидел на том же кожаном стуле. Скучающий Богоявленский видимо обрадовался Гольцу. Хотя он с первого раза увидел, с кем имеет дело, но ему сильно хотелось вызвать эту личность на не свойственную ей почву отвлеченного мышления и полюбоваться на неуклюжие ужимки, с какими бык скользит и падает на гололедице. Он понял, что под тщеславным самолюбием Гольца кроется крайняя обидчивость. Сидорыч был особенно в ударе и сыпал цитатами, как из дырявого мешка. Небольшого труда стоило Богоявленскому заставить Гольца выпить первую, а затем вторую и третью рюмку *anticholericum*'а. Разогревшийся ветеринар, видимо наслаждаясь новым для него положением, уже не так сильно порывался к должности. Слушая лестные слова Богоявленского, он чувствовал себя счастливым, чуть не триумфатором. Богоявленский истощал все усилия вызвать быка на гололедицу, но бык

прыгал, восторженно вертел хвостом, глухо мычал, а на гололедицу не выходил.

Такие сцены повторялись каждое утро. Богоявленский, сначала сердился на неудачу, но потом стал брезговать очевидной болезненностью бессвязных бормотаний и мычаний Гольца. Иринарх Иванович решил не вызывать Гольца на рассуждения, а просто курить перед ним фимиам. С этой целью он, зарядив Гольца достаточным количеством *anticholericum*'а, заводил речь вроде следующей:

– Ведь вот отчего, *carissime collega*[81], я дорожу вашим знакомством, порода-то в вас фундаментальная, саксонская!

– О, го, го, помилуйте! – самодовольно гоготал Гольц.

– Нет, позвольте, – продолжал Богоявленский, – я не дальше как на вас берусь доказать превосходство саксонской породы. Эта высокая порода, предназначенная покорить мир, бессознательно всюду держится своих родных преданий и обычаев. Возьмите нашего русачка, вот хоть бы сего злосчастливого червя. Пошлите его на год в Париж, он живо заговорит по-французски, а в три-четыре года станет говорить, как природный француз. Что это значит? Своя-то у нас начинка скудна. Теперь возьмите саксонца. Вот вы, например. Ведь вы в гимназии учились по-русски?

– Как же, как же! – воскликнул Гольц. – У нас был прекрасный учитель Оффенбах.

– Вот видите ли, – продолжал Богоявленский, – да на действительной службе не состоите ли вы лет десять?

– Как десять! Я еще в прошлом году получил пряжка за пятнадцать лет беспорочная служба.

– Вы сами подтверждаете мою мысль. Как же не удивляться стойкости саксонской породы! Ведь вы до сих пор не усвоили себе русского языка.

– Да, да, это справедливо!

– Возьмем другой пример: лужи для всех мокры. Посмотрите на наших лоботрясов. У них даже форма предписана, которой они изменять не смеют. Но как у него нет ничего заветного, так он в полую воду натянет смазные сапоги и ходит как ни в чем не бывало. Его насильно в калошах в лужу не загонишь. То Ли дело саксонец, хоть бы вы! И ноги мокры, и зубы приходится рвать, а как расстаться с калошами, освященными « вековым преданием! Тут дело не в калошах, а в принципе.

– Как это ви все прекрасно! Ви совершенной правда.

На этом пути праздный Богоявленский в несколько месяцев дошел до геркулесовых столпов. Подстрекать Гольца к утренним возлияниям уже не было на-

добности. Он сам давно перешел число рюмок, дозволяемых границами. Пользуясь восторженным состоянием Гольца, Богоявленский, под предлогом товарищества, давно говорил ему «ты», и говорил такие вещи, которые даже Гольцу казались подозрительными, но, замечая, что тот начинал сердиться, Богоявленский или повернет дело в шутку, или придаст словам хвалебное значение, и все пойдет по-прежнему. Более чем веселое расположение духа, с каким Гольц выходил по утрам от Богоявленского, мало изменяло его внешнюю жизнь. Подчиненным ему коновалам это обстоятельство было с руки, а провозившись целый день в загородном воловьем парке, он протрезвлялся и являлся домой как ни в чем не бывало. Луиза Александровна, живя на противоположном конце города и ни с кем не ведя знакомства, менее всякого другого могла знать про ежедневные свидания Гольца с Богоявленским. Так прошел еще год, в конце которого у Луизы родилась вторая дочь, а у Богоявленского, как он сам давно предвидел, быстро развилась водянка. До конца Иринарх Иванович не изменял порядка жизни, но в одну ночь его не стало.

На крестинах дочери Луиза лежала в постели и не могла выйти к столу, к приехавшим из Кременчуга восприемникам-немцам, а распорядилась только, чтоб обед был пополнее. В четыре часа гости сели с хо-

зьяном за стол, и до слуха Луизы доходил их говор, звяканье ножей и, как ей показалось, частые оттычки пробок. Говор, сначала тихий, под конец обеда переходя в смех, дошел до нестерпимого крика и хохота. По уходе гостей Гольц пришел в спальню окончательно пьяный. С испугу или по другим причинам Луиза сильно расхворалась, так что пролежала месяца два. На другой день Гольц обедал один, но пришел к жене в таком же виде, как и накануне.

– Ты пил вино? – спросила больная.

– Я допил вчерашнее, – отвечал Гольц.

– Напрасно ты это делаешь. Это тебе вредно, – решилась сказать Луиза.

Гольц не ответил ни слова, а только тряхнул своими черными волосами утвердительно, как бы желая сказать: «да, вредно», и лег спать. Подобные сцены повторялись каждый вечер, и когда Луиза, после двухмесячной болезни, стала выходить к обеду, то увидела, что муж каждый день под полой шинели приносил бутылку вина. Собравшись с духом, она выставила перед ним все губительные последствия такого образа действия. Гольц только хмурился и упорно молчал. Она плакала, умоляла: ни полслова; кивнет головой, а завтра опять несет бутылку. Так протянулся год. Гольц, прежде исправно приносивший домой третное жалованье, стал приносить его в значительно

сокращенном размере, и, соответственно возраставшей неисправности с этой стороны, вино в бутылках все крепчало и наконец превратилось в ром. Однажды, не допив бутылки, Гольц с улыбкой пьяницы приподнял ее против света, покачал и, убедясь, что она наполовину полна, молча подошел к шкафу и поставил ее на полку. Сбирался ли он опохмелиться утром или допить ее во время обеда – бог его знает, но в этот вечер он был отвратительно пьян. Шатаясь на ногах, он наткнулся на кроватку меньшого ребенка. Перепуганная Луиза рада была, когда он уснул. Горько ей было. До сих пор она только безуспешно увещевала и умоляла, но еще ни разу не позволяла себе какого-либо действия наперекор мужу. Решившись с горя на такой шаг, она подошла к шкафу и, достав проклятую бутылку, вылила, что в ней было, за окно. Как она потом раскаивалась в этом! Она постоянно твердила: «Я сама, сама, собственными руками всех погубила!»

На другой день Гольц, подойдя к шкафу и найдя бутылку порожнею, не сказал ни слова. К обеду он уже не приносил вина, а пришел сильно пьяный. С этого дня он окончательно уклонился от домашнего надзора и на всей свободе предался публичному пьянству. Он потерял стыд.

Знающий всю городскую подноготную, Сидорыч скоро пронюхал, что ветеринар закутил. Пользуясь

авторитетом покойного Богоявленского, он, при помощи грубой лести, втерся в доверие Гольца; он же в стороне города, куда ходил Гольц на службу, разыскал чистенькую и прохладную каморку в рейнском погребе еврея Ицки. Ицка сразу стал величать Гольца превосходительством, оказывая ему знаки почтения и рабской покорности. Это не мешало ему, уверившись в постоянстве своих ежедневных гостей, с возрастающим усердием приписывать лишки в счетах, подаваемых Гольцу, так что со временем не только все третное жалованье ветеринара поступало в руки расторопного еврея, но Гольц уже не выходил у Ицки из долгов. Жалованья Гольц почти не приносил, а между тем как ни в чем не бывало требовал, чтобы привычки его удовлетворялись с прежней предупредительностью.

Когда Гольц окончательно отбился от дому и Луиза Александровна убедилась, что ей с этой стороны помощи ожидать нечего, она напрягла все силы, чтобы восполнить экономией пробел, происшедший в доме от безучастия мужа к положению семейства. Она из-за насущного хлеба втайне продавала некоторые ценные вещи своего приданого белья, приготовленные когда-то собственными трудами и руками покойной матери. В этих лихорадочных заботах более всего ее беспокоила мысль, что рано или поздно нужда

заставит ее тронуть небольшой капитал, скопленный Гольцом до свадьбы и отданный ей на сбережение. Истратив некоторую часть этого капитала на первоначальное устройство хозяйства, Луиза до рокового для нее рождения второй дочери сумела не только пополнить израсходованные деньги, но даже прибавить несколько из собственных сбережений, так что составила круглая цифра в тысячу рублей ассигнациями. Эти деньги, единственную надежду семейства, она тщательно берегла на черный день. Они лежали у нее в комод, в горбатом картонном баульчике, заложенном более тонким бельем, редко бывавшим в употреблении. Ключ от комода она не поручала никому и по ночам клала его под подушку. Оправившись после третьего ребенка, Луиза Александровна с обычной ревностью принялась за свои трудные задачи. Муж, к этому времени окончательно предавшийся гнусному пьянству, не приносил домой жалованья, и никакая экономия не могла сделать что-либо из ничего. В крайности, Луиза Александровна решилась тронуть заветный капитал и однажды, когда муж, по обыкновению, напившись в постели кофею, ушел со двора, скрепя сердце отперла комод. При взгляде на известный уголок она исполнилась мрачного предчувствия. Тонкое белье вкривь и вкось нестройной кучей лежало – на горбатом баульчике. Явно здесь хозяйнича-

ла чужая торопливая рука. Дрожа от волнения, Луиза Александровна раскрыла баульчик. Ни копейки, все вынута. На вопль бедной женщины прибежала Фекла, единственная и неизменная ее прислужница, не знавшая даже, как оказалось, о существовании тайного клада. При постоянной заботе, с какой Луиза хранила ключ при себе, невозможно было не только напасть на след вора, но даже сделать какое-либо предположение о времени похищения. «Точно какое-то колдовство, – думала целый день Луиза Александровна. – Что теперь скажет муж?» Он способен предположить, что она истратила деньги и выдумала всю эту историю. Днем ключ у нее постоянно в кармане, а ночью под подушкой, и сон ее так чуток, что ничего нельзя тайно достать у нее из-под головы. Единственное время, когда можно распорядиться ключом, – те полчаса, когда она утром выходит в кухню готовить мужу кофе. Но в это время он сам в спальне, и никто туда не входит. «Неужели это он?» С омерзением отвергнув эту мелькнувшую в голове мысль, Луиза Александровна снова запуталась в соображениях, и когда Гольц вернулся к четырем часам домой, она, рыдая, рассказала ему о случившемся. С перепугу муж показался ей даже пьяным менее обыкновенного.

– Надоели мне твои крики! – отвечал Гольц, как бы отряхивая растопыренные руки. – Плакать ты масте-

рица, а вот лучше бы об обеде подумала. Четыре часа, а супа нет на столе. Я голоден, а ты меня кормишь своим криком.

– Господи! Да не догадываешься ли ты, кто взял деньги?

– Отстань от меня, фурия! – крикнул Гольц, – и давай обедать!

– Да скажи же что-нибудь! – умоляла Луиза, – может быть, тебе понадобились деньги и ты сам взял их?

– Понадобились, я и взял собственные деньги, – отвечал Гольц, разводя руками. – Ну, что еще надо? А мне надо обедать.

Луиза Александровна не сказала ни слова, но на другой день стала проситься у мужа в Кременчуг. Гольц и слушать не хотел. Тем не менее, поручив преданной Фекле надзор за детьми, Луиза отправилась при первой возможности с попутчиком в Кременчуг и там отыскала генеральшу Лесовскую. Тридцатипятилетняя богатая вдовушка-генеральша, одна из учениц покойной госпожи Зальман, с малолетства была очень, дружна с Луизой, и к ней-то последняя решилась, обратиться за советом, как к единственной особе, могущей принять в ней участие. Луиза не обманулась в своей надежде. Переговорив с Лесовскою, известной франтихой, она устроила дело так, что генеральша, получавшая через Одессу все новости дам-

ского туалета из Парижа, стала пересылать Луизе образчики, по которым последняя с замечательной спешностью и искусством приготавливала модное белье. Лесовская взялась рекомендовать и продавать товар знакомым богатым барыням и невестам, и таким образом Луиза Александровна, вырабатывая до тридцати рублей серебром в месяц, снова оградила семейство от крайней нищеты. Вероятно, Лесовская, под предлогом удачной продажи, тайно прибавляла денег от себя. Дела пошли своим порядком. Никто не слыхал ни малейшей жалобы от Луизы Александровны, но мало-помалу зрение от усиленной работы стало изменять ей, и домашние обстоятельства снова расстроились. Преданная Фекла, уже два года не получавшая жалованья, несмотря на просьбы Луизы, ни за что не хотела оставить семейства, которому ее услуги были необходимы; но не видя возможности платить жалованье, Луиза наотрез отказала ей и со слезами отпустила свою кухарку. Целое лето сама исполняла все работы по домашнему хозяйству. Но что предстояло осенью и зимой – страшно было подумать. Да и кому нужно было думать о деле, о котором не думал сам хозяин?

IV

В сороковых годах полком нашим командовал всеми любимый и уважаемый барон Карл Федорович Б... Штаб полка находился в городке К..., лежащем на берегу одного из днепровских притоков. Замечательный кавалерист и тонкий знаток лошадей, барон Б... весьма серьезно смотрел на службу, что не мешало ему с жадностью читать новейшие произведения французской и русской литературы, быть самым любезным собеседником и страшным хлебосолом. Он бывал не в духе, когда штабные офицеры не все у него за обеденным столом. Правда, обед барона не отличался дорогими тонкостями и высокими винами: это не позволяли его небольшие средства; но повар его из обыкновенной провизии умел так вкусно готовить, что надо было видеть, сколько всего этого поглощалось ежедневными гостями. Барон вставал рано, особенно летом (а лето в Новороссии чуть не круглый год), и прямо отправлялся пешком в конный лазарет, хотя последний находился, по крайней мере, в полутора верстах от его квартиры. В этих утренних странствиях ему ежедневно приходилось проходить мимо моей квартиры; но, зная, что его полковой адъютант (пишущий эти строки тогда занимал эту должность) не выходит

в канцелярию до восьми часов, он никогда не тревожил меня ранними визитами. Хотя письменная отчетность о поступающих в лазарет и возвращающихся в эскадроны лошадях и лежала на мне и барон требовал большого порядка по этой части, тем не менее смотреть за лазаретом не входило в круг моих непрелюбимых обязанностей. Но, бывало, ничем нельзя так расположить почтенного Карла Федоровича, как добровольным соупутствием в его прогулках в конный лазарет. Там он делался особенно общителен. Не было конца его сожалениям, соображениям, надеждам и практическим замечаниям. Строгий рационалист во всем остальном, он делался в области конного лазарета каким-то эмпириком, чуть не колдуном. Вполне доверяясь образованному и примерному молодому ветеринару, барон тут же из-под руки пичкал больных лошадей бог знает откуда почерпнутые секретные средства, и, надо сказать правду, весьма часто с неожиданным успехом. Из числа многих привожу следующий пример: известное худосочие (тельчак) не уступает никакому так называемому рациональному лечению. Шея, передние и задние ноги лошади сначала изредка, потом все чаще и чаще покрываются круглыми худокачественными язвами, приводящими организм к окончательному разложению и смерти животного. Болезнь эта в высшей степени зарази-

тельна. Как теперь помню, приведена была лошадь, красавица, девяти вершков, фланговая 3-го эскадрона, Готф. Напрасно ретивый юноша ветеринар истощал свою ученость, совал меркуриальные препараты, прижигал ранки раскаленным железом, – ничто не помогало. Барон не мог без волнения говорить о красавце Готфе. «Знаете ли, – сказал он мне однажды, – пусть Григорий Иванович убивается над неизлечимую болезнью, а я дам Готфу ящерицу».

– Какую ящерицу? – невольно спросил я.

– Простую, серую, каких по степи тысячи. Только как поймать ее.

– На этот счет не беспокойтесь, – сказал я, – сейчас будет вам представлено десять, двадцать, сколько угодно.

– Пожалуйста.

Обещав уличным мальчикам гривенник и снабдив их поливненным горшком, я через час получил желаемое. Ящерицы были в завязанном горшке высушены в печи, а на другой день, в виде порошка, даны больному Готфу. После двух-трех приемов ранки стали заживать, и через две недели Готф веселый, отправился в эскадрон, где на моих глазах прослужил четыре года, а сколько после меня – не знаю.

Штабная жизнь наша не отличалась разнообразием. Утром манеж, канцелярия, а вечера мы почти

неразлучно с бароном проводили у городских знакомых, кружок которых был весьма необширен. Добрейший холостяк – бригадный генерал. У него же был и бильярд, и потому мы нередко заглядывали к нему в однообразные зимние вечера. Еще два дома приезжих помещиков и неизменный Федор Федорович Гертнер, начальник округа. Нельзя на некоторое время не остановиться на этом лице. Представьте себе маленького, живого, с красным рябоватым лицом и картофельным носом старичка лет шестидесяти, в черном парике, с нафабранными усами, которые то и дело лезут ему в рот, с черными добродушными глазами, которые, одушевляясь, начинают сверкать и бегать. Прибавьте, что он и жена его, добродушнейшая и образованная Марья Ивановна, великие мастера заказать обед и охотники угостить, что никто раньше их не достанет дупелей, первых редисок, огурцов, арбуза и т. д., что он любит свою престарелую Маню, так он называет Марью Ивановну, обожает своих ребятишек: девочку двенадцати и мальчика восьми лет, никому не способен заведомо вредить, – все это еще не даст вам понятия о Федоре Федоровиче. Федор Федорович, рассказывая какой-либо забавный случай, сам нередко от души хохочет, но на такие темы он нападает случайно; по большей части в разговорах он нарочно подыскивает обстоятельства и столкновения, воз-

буждающие его стремительную раздражительность. Это, разумеется, бывает в кругу людей близких, и тут свои любимые слова «Боже мой! Боже мой! ах, какая каналья!» он произносит таким гортанным голо- сом, как будто щелкает большой грецкий орех. Дело в том, что трагизм полковника Гертнера нисколько не общителен, а напротив, постоянно возбуждал в слушателях неудержимый, неизбежный смех. Бывало, сколько себя ни уговариваешь, что непристойно смеяться в глаза старому, добродушному человеку, но стоит Федору Федоровичу закипеть, и все пропало. Кажется, ожидай человека гильотина, и то бы не удержался. Закипал же и раздражался Федор Федорович даже при таких воспоминаниях, которые очевидно были ему приятны. Любя и понимая строительную часть, он, в качестве окружного начальника, действительно щегольски отстроил некоторые штабные помещения, в том числе и небольшой, занимаемый мною домик. Но когда речь заходила об этих постройках, никакие заявления признательности не могли удержать Федора Федоровича от восклицаний: «Помилуйте! разве я смею поставить эти медные замки, задвижки, ручки и заслонки в смету? Разве начальство примет на казенный счет лакированные полы? Вот я скоро брошу эту каторгу, тогда посмотрите, будет ли вам новый окружной доставлять такие удобства? А то все Фе-

дор Федорович не хорош...» и т. д. Я знал Федора Федоровича давно. При моем поступлении в полк Гертнер был еще во фронте дивизионером. На нем был тот же черный парик и тот же ореол комизма. Кажется, никого судьба не ставила в такие комические положения, в каких зачастую бывал Федор Федорович. Чтобы не утомить читателя, ограничимся следующим случаем. Во время первого моего майского компонента Федор Федорович, в качестве старшего дивизионера, выезжал пред дивизионом и, следовательно, появлялся в виду всех в одиночку во всей красе. Хотя по чересчур маленькому росту ему не следовало служить в кирасирах, но для офицеров нет определенной меры. Зато такая мера существует для лошадей, и на гусарской лошади нельзя ездить пред кирасирским фронтом. В наше время ниже четырех вершков у офицерской лошади не допускалось. Представьте же себе комическую фигуру старого полковника на широкой четырехвершковой матке, объем которой чуть не удвоился вследствие того, что она бережа. Всякий кавалерист вам скажет, что третья часть полка состоит из маток, и никогда не случается, чтобы простая, солдатская матка пришла в подобное состояние. Все условия присмотра таковы, что этого случиться не может. Под какую же комическую звезду должен родиться Федор Федорович, чтобы с его единственной

маткой случился подобный казус? Нельзя было слишком осуждать наших кирасир, когда появление полковника Гертнера на его бережей матке возбуждало общую веселость. Разумеется, при появлении полкового командира пред фронтом хихиканье умолкало и все принимало серьезный вид. На одном учении, пред началом которого фигура Гертнера на его матке показалась всем что-то чересчур комичною, полку, после продолжительных и быстрых построений, скомандовано было выстроить фронт. Когда поднятая движением пыль стала опадать, заметили, что третьего дивизионера пред фронтом нет; когда же пыль окончательно улеглась, то увидели Федора Федоровича лежащим вместе с лошадыю на земле и напрасно старающимся освободить свои ноги из поводев, в которые он попал шпорами.

– Что такое? что такое? хи-хи-хи, – разнеслось по фронту.

Желая поскорей окончить эту сцену, полковой командир послал трубача слезть и помочь полковнику встать. Но и тот не тотчас освободил полковника, а между тем его лошадь мешала видеть подробности происшествия.

– Что ты там возишься? – крикнул полковой командир на трубача. – Что там случилось?

– Ожеребился, ваше высокоблагородие! – закричал

трубач во все горло, стараясь, чтобы слова его были внятны полковому командиру. С этим словом вся дисциплина пропала. Раздался гомерический смех восьмисот человек. Сам полковой командир расхохотался и, скомандовав: палаши в ножны, пики за плечи, распустил полк. Трудно предположить, чтобы Федор Федорович в сущности изменился только потому, что из действующих перешел в поселенные.

Кажется, ни к чему в такой степени, как к провинциальной штабной жизни, не относится пословица: «Дела не делай и от дела не бегай». И поехал бы верст за шестьдесят или за сто к знакомым помещикам отдохнуть среди роскошной обстановки, освежиться общением с более широкими интересами, да как подумаешь, что, может быть, не успеешь выехать, а тут экстра из дивизии или, чего доброго, нагрянет сам начальник штаба, так и пойдешь к тому же бригадному генералу или к Федору Федоровичу. Нечего говорить, что однообразные уличные явления небольшого городка были нам знакомы до пресыщения и скуки. С некоторыми жителями, приходившими в Казенный сад слушать трубачей, у нас возникало даже так называемое шапочное знакомство, но на этом дело и кончилось, так как не было повода вникать в их домашнюю жизнь. Для меня исключением было на некоторое время семейство поселенного ветери-

нара Гольца. С самого поступления моего в полк глаза мои привыкли в известные часы дня встречать на тротуаре довольно оригинальную фигуру. В эти часы, вдоль серых заборов, торопливо и как бы желая поскорее скрыться от докучных наблюдателей, проходит небольшой человек. С виду ему было лет под пятьдесят. Широкое, скулистое лицо с черными нависшими бровями, носом пуговицей, широкими плоскими губами крепко сложенным ртом и худо выбритым подбородком, постоянно выражало какое-то презрительное неудовольствие. Кроме этого выражения, лицо это представляло сплюснутость каучуковой кукольной головки, которую придавили пальцами сверху вниз. Зимой и летом неизменным костюмом знакомого незнакомца была камлотовая, когда-то коричневая, теперь совершенно серая, под цвет заборов, шинель и грязным блином лежащая на голове фуражка, из-под которой дикими, нечесаными завитками вырывались черные, с легкой проседью, волосы. Человек постоянно был, что называется, грузен. Не помню, кто мне пояснил, что это пьяный поселенный ветеринар Гольц. Успокоившись на таком сведении, я о нем более не расспрашивал.

V

Однажды, в начале июля, когда полк готовился к походу на дивизионный и корпусный компаменты, я, против обыкновения, проснулся часов в пять утра. На это могла быть особая причина. Молодцы солдатики сплели мне к компаменту великолепную корневую плетенку для брички (нетычанки) и в настоящую минуту нетычанка, искусно выкрашенная под солому и покрытая лаком, была выставлена сохнуть на крутом пригорке между моею конюшней и квартирой. Меня беспокоила мысль, не налипла ли опять вчерашняя мошкара на лак, и с этой целью, наскоро одевшись, я побежал на гору. К большому моему удовольствию, все оказалось в порядке и даже лак стал мало отлипать. Не успел я окончить обзора, как внизу на тротуаре показалась высокая фигура барона. Самому мне было весело на душе – почему, думаю, не потешить добряка? Я поспешно сошел к нему навстречу.

– Вот какая вы сегодня ранняя птица, – сказал полковник, протягивая мне руку. – Что, батюшка! любовались своей обновкой по части изящных искусств?

– Нет, это я так взглянул, но главное, я поджидал вас, чтобы пройтись в конный лазарет. Какое чудное утро, просто рай!

– О, о! прекрасно, похвально! Право, я иногда удивляюсь, глядя на нашу молодежь. Подумаешь, что иной из-под палки служит. Не любишь кавалерийского дела, ну и не служи, найди себе другое занятие по душе. Но кавалерист, не любящий лошади, по-моему, грустное явление. Да знаете ли, уж коли на то пошло, по-моему, он и человек-то дрянной. Я бы ему не доверил ничего. В нем нет любви к делу.

Беседуя таким образом, Карл Федорович широко шагал своими длинными ногами и шел так быстро, что мне приходилось рядом с ним чуть не бежать. На половине пути я увидел шагах в ста впереди нас, на тротуаре, колыхание давно известной мне серой камлотовой шинели с блинообразною фуражкой.

– Карл Федорович, – невольно воскликнул я, – ведь это Гольц! Зачем его несет в эту сторону?

– Он идет в конный лазарет.

– Зачем?

– Вы не помните унтер-офицерскую кобылу второго эскадрона, Прозерпину?

– Как же не помнить. Недели две тому назад ее привели ко мне, и она жаловалась на левую заднюю ногу.

– Та самая. Мы с Григорием Ивановичем расчистили ей стрелку в копыте и с грустью убедились, что у нее рак. Григорий Иванович и вырезал и выжигал, но дело все ухудшается, а ужасно жаль этой лоша-

ди. Вчера утром мой Петр докладывает, что доктор Гольц желает меня видеть. «Что ему угодно?» – «Говорит, желает переговорить». Думаю, верно, пришел под каким-либо предлогом выпросить на выпивку. Однако делать нечего. Проси его в залу. «Что вам угодно?» – спросил я эту дрожащую беззубую фигуру. «Я слышал, вас очень беспокоит рак в копыте, и хотел вам помочь. У меня есть секрет, и через четыре дня все выпадет, и ранка очистится», – словом, наговорил с три короба. Врет, подумал я, этот пьяница, но ведь попытка не штука, лошадь все равно пропала. «Очень хорошо, говорю. Пожалуйста завтра в конный лазарет, а я скажу Григорию Ивановичу, чтобы он вам отпустил каких будет нужно медикаментов». – «Нет, позвольте, медикаменты я сам принесу, а вы прикажите кожаную калошу по ноге сшить и больше ничего». Я ему дал пять рублей на лекарство, то есть на выпивку, заказал калошу и обещал, в случае успеха, еще пятьдесят рублей, а теперь увидим его прыть.

Когда мы пришли в конный лазарет, там все уже было готово. Гольц с видом знатока осмотрел рану и, проворчав: «нишево», принялся дрожащими руками намазывать какую-то коричневую мазь на корпию и затем, при помощи коновалов, заложив ей рану, надел кожаный башмак.

– Тепериша карашо. Послезавтра – посмотреть, –

прибавил он, умывая руки. Григорий Иванович смотрел на операцию со сверкающими глазами. Умилялся ли он, насмеялся ли? Кто его знает. Мы пошли навещать других пациентов.

Принужденный часто и в разное время отлучаться из дому, я, во избежание беспрестанных отпираний-запираний парадного крыльца, ходил через каменную террасу своего домика, обращенную во внутренний двор, к конюшне. Тут же на террасе, в чулане, хранился овес для моих лошадей, и, вероятно, это обстоятельство много споспешествовало охоте моего слуги разводить самых разнообразных и красивых кур, которых он потом распродавал любителям. В это птицеводство я не вмешивался, хотя, проходя через террасу, нередко находил ее обсыпанную курами, индейками и гусями. Однажды, выходя утром к должности, я увидел какую-то женщину. Завидя меня, женщина с воплем повалилась в ноги:

– Помилуй меня, батюшка, защити сироту!

– Встань, ради бога, и говори просто, что тебе надо.

– Не встану, мой отец! Я жалобу тебе произношу.

– А не встанешь, я и слушать не стану. Прощай.

Женщина встала и, заливаясь искренними слезами, продолжала:

– Я тебе жалобу произношу на твоего слугу Наумыча. Он, колдун, меня измучил.

Думаю: господи, что за чепуха!

– Он моих индеек приколдовал к вашему крыльцу.

Кличу, кличу, ничего не поделаю, из сил выбьюсь.

– Да ты откуда?

– Суседская, Рыбниковская.

В соседнем домике, действительно, стоял поселенный казначей Рыбников, человек женатый.

– Жалко мне тебя, матушка, что ты так измучилась с своею птицей, но дам тебе совет кормить индеек так нее хорошо, как, вероятно, они питаются у этого крыльца, и все колдовство пропадет.

Видя, что я ухожу, женщина, утирая слезы, торопливо прибавила:

– Барин приказал спросить, можно ли ему прийти к вам.

– Скажи, что я иду к должности, но если ему угодно меня видеть, то пусть пожалует в канцелярию.

Через несколько времени в канцелярию, в новом сюртуке и эполетах, вошел белокуренький, лысенький и, точно с перепугу, передергивающийся Рыбников. Более распевая по-птичьему, чем произнося слова, он затянул:

– Извините, что я в таком месте, но я решился беспокоить вас. Сегодня день ангела жены, и она убедительно просит сделать нам одолжение пожаловать в двенадцать часов закусить. Она поручила мне звать

вас.

Я поблагодарил и обещался быть. «Что за притча? – подумал я, – отчего это Рыбниковы, у которых я никогда не переступал порога, вздумали сегодня звать меня?» Выйдя из большого помещичьего дома в качестве перезрелой девицы замуж за поселенного офицера, Рыбникова не забывала своего бывшего величия и, встретив знакомого в ее прежнем обществе, не могла отказать себе в удовольствии воскликнуть:

– Ах! скажите, давно вы видели мою кузину Annete? Как вас хвалит Sophie, попеняйте, пожалуйста, Alexandrine, что она нас забыла!

Ровно в двенадцать часов вертлявый Рыбников, встретив меня в передней, провел через столовую, где уже стояла закуска, в гостиную, в которой я нашел хозяйку дома, раздетую с явной претензией на роскошь. Рассчитывая встретить многочисленное собрание, я был крайне изумлен, не застав в гостиной никого, кроме хозяев и какой-то старушки с девочкой. Начались обычные перечисления Alexandrine, Nadine, Sophie, между которыми хозяйка представила меня старушке. Я решительно не знал, кто эта особа. Старушка сразу бросилась в глаза своей щепетильной опрятностью. Такая она была чистенькая, начиная с белоснежного тюлевого чепца до серенького платья, обрамленного безукоризненно свежими воротничком

и рукавичками. В чистеньком, худеньком и, видно, когда-то красивом лице ее не было ни кровинки. Но вслед за первым, внешним впечатлением возникало другое, внутреннее. Крайняя худощавость старушки, резко обозначенная узким, вопреки тогдашней моде, платьем, эти конвульсивно сцепившиеся на коленях руки, эти туго прижатые к телу локти, эта напряженная неподвижность всей фигуры и тускло-серых глаз ясно говорили: что ж это я так широко расселась, нельзя ли мне как-нибудь подобраться, втянуться внутрь; зачем я здесь и зачем я вообще где-нибудь? Чтобы никому не мешать, мне бы надо занимать самое маленькое местечко-точку, пылинку какую-нибудь, да и того для меня много.

– Оставь, Коля, ты беспокоишь mademoiselle Lise! – проговорила Рыбникова, не принимая, однако, никаких мер остановить шалуна, который грязными руками безжалостно ухватился за концы широкой голубой ленты пояса блондинки. При этих словах блондинка, туго придерживая ленту, вскинула на нас свои голубые глаза, и я изумился, как мог до сих пор ее не заметить, как я мог смотреть на что-либо, кроме ее. Девушке было на вид от четырнадцати до пятнадцати лет. Она была еще совершенное дитя, но какое чистое, безыскусственное и грациозное дитя. Как шло это белое кисейное платье без всяких украшений, кроме по-

яса, к девственному очерку ее лица и шеи. Тонкие, на концах загнутые кверху и густые, стрелки ресниц придавали своею тенью глазам ее таинственную глубину. Густые, золотистые волосы, с едва заметным отблеском красноты, двумя тяжелыми косами падали ей за плечи. Едва ли не вся прическа была совершена без помощи зеркала, а между тем можно было сказать без преувеличения, что сами грации убирали эту головку. Видно было, что волосы, по густоте своей, противясь действию гребня, сначала пышно поднимались на лбу и прозрачных висках и затем уже следовали по указанному пути, оставляя у корней своих воздушные, едва заметные колечки. Всю головку девушки окружал какой-то светящийся нимб, и мне никогда не случилось видеть такого живого воплощения перуджиновского идеала.

– Lise! он вас беспокоит, – обратилась Рыбникова уже прямо к девушке по-французски.

– Нисколько, – отвечала девушка, окончательно освободив ленту из рук мальчика, – и если вы мне позволите взять карандаш на вашем письменном столе, то мы с Колей сейчас будем добрыми приятелями.

– Ах, сделайте милость! Я знаю, вы прекрасно рисуете.

– Пойдем, Коля, я тебе нарисую лошадку. – С этими словами девушка пересела под единственное ита-

льянское окно комнаты и, взяв лист бумаги, принялась рисовать. Южное полдневное солнце резко ударяло как раз через улицу, на белые стены колоссального военного госпиталя, а два громадных тополя под самым окном густою тенью увеличивали янтарный блеск стены. Очарование было полное. Перуджиновская головка, как ей и следовало, плавала на золотом фоне. Даже Коля, влезший с ногами на соседний стул и подперший голову обеими руками, чтобы лучше рассмотреть рисунок, не портил картины.

«Ты остановишься невольно,
Благоговея богомольно,
Перед святыней красоты»[82],

– вдруг засветилось у меня на памяти.

– Удивительно, как она умеет ходить за детьми, – отозвалась Рыбникова, обращаясь к старушке. При этих словах старушка повернула голову и посмотрела на девушку. Вся сжатая окаменелость мгновенно растаяла. По бледному лицу разлилась тихая улыбка, даже локти отошли от тела и руки расцепились на коленях.

– Привычка, – ответила старушка. – Наши дети больше на ее руках. Теперь я уже ничего не могу. – Последние слова придали ее лицу прежнее выражение болезненной сдержанности, но, нарушив молча-

ние, старушка, видимо, хотела воспользоваться случаем, избавляющим ее от необходимости еще раз обращать на себя внимание посторонних.

– Вы нас извините, madam Рыбникова. Мы нарочно пришли пораньше поздравить вас, но вы знаете, нам нельзя более оставаться. Дети одни.

– Знаю, знаю, – перебила Рыбникова, но я не могу отпустить вас без завтрака; хоть что-нибудь закусите. Mesdames et messieurs![83] пожалуйста завтракать.

Услыхав такое приятное приглашение, Коля забыл рисунок, прежде всех очутился в зале и, бегая вокруг яств, казалось, разом успевал помешать в пяти местах, вырастая, как гриб, между столом и приближающейся к нему личностью. Рыбников принялся систематически резать именинную кулебяку, а хозяйка валила на тарелки гостям, что ей под руку попадало.

– Mademoiselle Lise! Это вам верно генеральша подарила такую великолепную ленту? Скажите, вы часто бываете у нее?

– По воскресеньям и по праздникам она постоянно берет меня из института.

– Там вы, верно, и учитесь рисовать?

– Да, по воскресеньям ко мне ходят учителя музыки и рисования.

– Право, какая она добрая! Пожалуйста, не забудьте сказать ей, что я высоко ценю ее душевные каче-

ства и, когда буду в Кременчуге, доставлю себе истинное удовольствие напомнить ей о себе лично. Не забудьте, душа моя!

В дверях показались красные поселенные воротники, и хозяйка встала им навстречу. Пользуясь небольшим смятением, старушка поднялась и, пожав руку хозяйке, вместе с дочерью направилась к дверям.

– Madame Гольц! Лиза! Madame Гольц! куда же вы! как же так? – вопила Рыбникова, на старушка на эти возгласы только обернулась, безмолвно и автоматически присела и скрылась в дверях прихожей. Так эта кроткая старушка и очаровательная девочка-жена и дочь того безобразного пьяного старика в серой камлотовой шинели? Как это странно, даже невероятно. Вскоре затем и я, под предлогом служебных обязанностей, раскланялся с хозяевами.

VI

«Точно как странник, который, взглянув перед самым закатом

Прямо на быстрое, красное солнце, после невольню

Видит его и на темных кустах, и на скалах утеса,
Перед очами, куда бы ни кинул он взоры, повсюду
Светит оно перед ним и качается в красках чудесных.

Так перед Германом образ возлюбленной девушки тихо

Плыл...»

– говорит Гете в своей бессмертной поэме[84].

В последние дни нечто подобное совершилось со мной. Перуджиновская головка постоянно носилась предо мной на золотом фоне, и я был очень доволен, когда мы с Марьей Ивановной вдвоем уселись у самовара. Не рассчитывая узнать какие-либо подробности о занимавших меня личностях, я чувствовал потребность поговорить с женщиной о моем впечатлении. Я отправился вечером с бароном Б. к Федору Федоровичу. Хозяин и хозяйка, добрая Марья Ивановна, встретили нас с обычной любезностью. Я навел раз-

говор на семейство Гольца.

– Вы не знаете, – воскликнула Марья Ивановна, перебивая мои восторженные возгласы, – на какую грустную для меня тему вы напали. Вы не знаете, какая примерная женщина эта, как вы ее называете, старушка Гольц. Сколько я выстрадала, глядя на ее безотрадную жизнь.

– Марья Ивановна! Стало быть, вам известна жизнь этого семейства. Нельзя ли им как-нибудь помочь?

– Нет, тут помочь нельзя. Из подобных положений выхода нет. Я готова рассказать вам все, что знаю, но скажите прежде, сколько, по вашему, мне лет? Пожалуйста, не стесняйтесь; в мои года можно прямо говорить о таких вещах.

Немного озадаченный подобным оборотом речи, я отвечал: «По-моему, вам сорок два – сорок три года».

– Немного не угадали. Мне сорок пять, а madame Гольц тридцать пять, потому что она ровно на десять лет моложе меня.

Оказалось, что покойная мать г-жи Гольц когда-то учила Марью Ивановну играть на фортепиано. Учительница и ученица тогда жили в Кременчуге, где Марья Ивановна знала Луизу с восьмилетнего ее возраста до замужества, а затем судьба снова свела их вместе, в одном городе, в качестве жен начальника и подчиненного.

Со времени случайной нашей встречи с г-жой Гольц, сильно заинтересованный судьбою этой бедной женщины, я часто расспрашивал о ней у Марьи Ивановны и Рыбниковых. Слухи приходили самые неутешительные. В последнее время она заметно опустилась нравственно и, как только переставала работать физически, впадала в какое-то тупое отчаяние, близкое к помешательству. Ее терзало сознание собственного бессилия. Что ей ни говорили, она твердила одно: «слепая, больная, я ничего не могу сделать для бедных детей. Я только им мешаю. Чувствую, что бог их не оставит, если я не буду мешать им. Нашлись бы добрые люди приютить сирот. А теперь кто их возьмет? У них мать». Даже материальная помощь, по отношению к Луизе Александровне была сопряжена с затруднениями и требовала разных уловок. Придравшись к повышению Гольца чином, Федор Федорович придумал посылать его семейству свечи натурой и годовое продовольствие мукой и крупой, под предлогом пайка на четырех денщиков, но и такая значительная помощь не вывела семейства из тяжелого положения.

Гертнер не мог равнодушно слышать имени Гольца. «Боже мой, боже мой! – закипая, восклицал Федор Федорович. – Ах, какой каналья! Если б не его несчастная жена и бедные дети, я бы давно в три шеи

вытурил его из службы».

– Не поверите, если вам рассказать! – прибавил он однажды, когда разговор снова сошел на эту тему. – На Святой Гольц получил надворного советника. По этому случаю Маня выдумала, что им следуют от меня квартирные деньги, а у них квартира по отводу. Теперь она каждый месяц посылает этой бедной женщине несколько рублей. Что ж бы вы думали? Пьяная образина пронюхает и украдет у жены последнюю копейку. Боже мой, боже мой! Ах, какой каналья!

VII

В конце июля того же года полк наш ушел в дивизионный компанент, а затем, в начале сентября, перешел на корпусный, в Елисаветград, где на этот раз по очереди ему пришлось занять подгородные бараки. После жаркого линейного учения и в виду ночных письменных занятий я лег отдохнуть. Солнце садилось, когда слуга, принося чай, доложил, что меня желает видеть поселенный казначей.

– Проси.

В комнату вошел передергивающийся Рыбников с заявлениями, что, будучи в Елисаветграде, желал воспользоваться случаем и т. д. Я предложил ему чаю. Оказалось, что у него есть поручение от начальника округа к нашему полковому командиру и что, не застав барона в бараке, он пришел узнать, когда он вернется.

– Барон уехал в дивизионный штаб, – отвечал я. – И я сам с минуты на минуту ожидаю его, чтобы узнать подробности словесного приказания на завтра. Что нового в К...? – спросил я, вполне уверенный, что нового ничего быть не может.

– Помилуйте, – пискнул Рыбников, дернув правым эполетом, – какие у нас могут быть новости. Все

постарому, кроме несчастного случая в семействе Гольц, о котором вы, вероятно, слышали.

– Какого случая? я ничего не знаю. Что такое? Расскажите, сделайте милость.

– Как же, помилуйте! – запищал Рыбников, вздрогнув левым эполетом. – Сегодня вторник, а это было третьего дня, в воскресенье, перед самым моим отъездом.

Избавляя читателя от преувеличенного рассказа и несообразных умозаключений Рыбникова, передадим простые подробности события в семействе Гольц, происшедшего в означенный Рыбниковым день.

Несмотря на воскресенье, Гольц, верный многолетней привычке, с утра отправился в воловий парк. По уходе мужа Луиза Александровна с особенным рвением предалась своим ежедневным заботам. Давно не была она так оживленна и разговорчива. Отворив комод, она тщательно разложила белье и указала Лизе, где что лежало и для какого употребления. Укладывая белье меньших дочерей, она обратилась к старшей:

– Лиза, ты уже большая девочка! О брате твоём я не говорю, тебе за ним не усмотреть, но дай мне слово посмотреть за сестрами как мать. Где бы ты ни была – не упускай их из виду. Помни, это моя горячая к тебе

просьба.

С этими словами она схватила и поцеловала руку Лизы. Уходя обыкновенно с утра на базар, она приучила вторую дочь умывать и чесать детей, но в это утро она сама тщательно одела двух меньших и, взяв сына Сашу на колени, стала чесать ему голову. Когда Лиза, проходя по комнате, взглянула на них, то увидела на волосах Саши слезы. Принимаясь несколько раз толковать детям, как они должны во всем слушаться старшей сестры, Луиза Александровна вдруг замолкала, опускала голову и даже не отвечала детям. В последний раз, на вопрос Лизы: что с вами, мамаша? Луиза Александровна ответила:

– Ничего, мой дружок. Пойдем в кухню. Пора! Жаркого сегодня нет, а масла немного осталось, так мы клецки с тобой сделаем. Папаша любит клецки; а к супу я пред самым обедом поджарю гренков. Ты станешь суп разливать, а я прямо горячие гренки подам.

Пока девушка, надев фартук, разводила огонь, Луиза Александровна часто уходила из комнаты к детям. Когда она стала целовать вторую дочь, девочка спросила ее:

– Можно мне, мамаша, завтра к Гертнерам, если Марья Ивановна пришлет за мной?

Мать ничего не отвечала. Девочка, ласкаясь, повторила вопрос.

– Можно, можно! – торопливо сказала Луиза Александровна, – только не очень бегайте по комнатам, Федор Федорович этого не любит.

Поуспокоившись, она сказала Лизе, что пойдет поискать в чулане, в сенях, луку в клетки. Лиза вызвалась идти за луком.

– Где ты в темноте его отыщешь, – отвечала мать. – Ты лучше присмотри, чтобы суп не выкипел.

В четыре часа пришел Гольц в обычном своем виде. Луиза Александровна сама принесла суповую миску и, поставив ее на стол, приказала дочери разливать, а сама пошла за гренками. Лиза разлила суп, а гренок нет. Гольц рассердился и стал громко кликать жену. Лиза побежала на кухню. Гренки на столе, а матери нет. Лиза выбежала на двор к колодцу – нет. Отворила калитку на улицу, и там нет. Никогда этого не случилось. Лиза стала громко кликать мать. Проходя через сени, она вспомнила про чулан. Дверь была отперта, но точно кто из середины ее придерживает. Лиза налегла на дверь и понемногу отворила ее.

– Мамаше дурно! – крикнула девушка обедающим.

– Что там такое? – отозвался Гольц.

– Мамаше дурно! она лежит! – закричала Лиза и почувствовала, что ногам стало тепло. Выступив из чулана навстречу бегущим детям, Лиза увидела, что весь подол у нее в крови. Ей захватило дух, и она сама

упала без памяти. Дети подняли вой. Вторую девочку соседи поймали на улице, куда она бросилась бежать с испугу. Когда посторонние осмотрели чулан, то увидели Луизу Александровну лежащую на глиняном полу с глубоко перерезанным горлом. Подле нее нашли мужнину бритву с рукояткой, туго завернутой полотенцем. Видно, все обдуманно и приготовлено было заранее.

VIII

В конце сентября полк вернулся на постоянные квартиры. На другой день прибытия в штаб я получил из конного лазарета рапорт: кобыла 2-го эскадрона, Прозерпина, пала. Настало время отдыха, и однажды вечером мы с бароном отправились к Гертнерам. Засидевшиеся в одиночестве хозяева явно нам обрадовались.

– Я вас таким вареньем угощу, – восклицал Федор Федорович, – чудо! Маня, прикажи подать вишен! Это ее труды. Ягодка к ягодке и вместо косточек вложены самые зернышки!

Разговор перешел к новостям и, естественно, остановился на самом крупном событии последнего времени – смерти madame Гольц. При этом имени Федор Федорович закипел.

– Не говорите, не говорите об этом человеке. Боже мой, боже мой, ах, какой каналья! Вы слышали, – продолжал он, обращаясь к нам, – что эта несчастная женщина наложила на себя руки, но вы ничего больше не слышали?

Мы отвечали утвердительно.

– Ну, так я вам все расскажу, чему был очевидцем. Дело было в воскресенье. Лавки были заперты, и на-

род отдыхал по домам. В пять часов мы, по обыкновению, сели обедать. Подавая пирожное, Петрушка докладывает, что полицейский унтер-офицер пришел. Так у меня сердце и екнуло. Господи! думаю, уж не пожар ли? Зачем прийти ему во время стола, в праздник? Бросив салфетку, я побежал в переднюю. Что случилось?

– Ветеринарная докторша зарезалась, ваше высокоблагородие.

– Где?

– У себя на фатере. Народу, – говорит, – навалило полна улица. Я, – говорит, – у калитки поставил часовых, чтобы не таскались в дом да чего не украли, а сам побежал к вашему высокоблагородию.

– Ну хорошо, – говорю, – вели мне духом запрячь пролетку, а сам ступай и дожидайся меня там на месте.

– Что случилось? – стала спрашивать Маня. Не желая понапрасну пугать ее, я было стал говорить «ничего», да ведь разве их обманешь! Пристала, скажи, да и только. Делать нечего, говорю: madame Гольц скоропостижно умерла.

– Ради бога! – говорит, – возьми несчастных детей, что они будут делать одни с пьяным отцом. – Пролетку подали, а я так шибко погнал, что лошади, со стойки, по вашей улице даже подхватили. Наздрунов прав-

ду сказал. Народу полна улица, и все больше бабье, в праздничных шелковых головных платках. – Прочь! Прочь! – кричу. – Держи к самой калитке! В сенях я заметил, что доски около чулана притоптаны кровью и кровавый след пошел в комнаты. Я растворил дверь, и что же, вы думаете, увидал? Надо вам сказать, покуда дали знать полиции, соседи вытащили труп из чулана, раздвинули обеденный стол посреди комнаты и положили на него покойницу. Хотели ее обмыть и прибрать, но Наздрунов разогнал всех. Сохраняя следы происшествия, он оставил только с детьми в спальне двух женщин, прося их не отворять дверей до моего приезда. Поэтому, когда я вошел, в столовой никого не было, кроме несчастной покойницы на столе и самого Гольца. Боже мой, боже мой! Вспомнить не могу! Представьте, на окне стоит до половины отпитой полуштоф водки, а Гольц пьяный-распьянный ходит со стаканом в руках вокруг стола, на котором лежит покойница, что-то бормочет и подпрыгивает. Я так и всплеснул руками.

– Ах, – говорю, – животное вы! Тварь поганая! На столе жена, которую вы замучили, убили вашим безобразием, а вы что делаете?

Он остановился, поднял на меня разгоревшиеся глаза и, ткнув пальцем по направлению к столу, прошамкал:

– Собаке собачья смерть.

С этими возгласами он снова замахал руками и пустился безобразно подпрыгивать вокруг тела. Тут уже терпения моего не стало.

– Вон отсюда, гнусная тварь! – закричал я. Он опять остановился.

– Вы не смеете, – говорит, – так на меня кричать, я надворный шоветник!

И при этом тычет себя в грудь.

– Наздрунов! – крикнул я, растворяя окно на улице. – Войди сюда, да захвати человек двух полицейских... Тащи его вон! – крикнул я полицейским.

– Вы не смеете!

– Тащи, тащи его! Да здоровый какой: в дверях упрется в притолки ногами, так втроем насилу сдвинули. В калитке народ смотрит: скандал! Едва протиснули, подхватили под руки и прямо на нашу гауптвахту. Покуда я составлял акт и опечатывал вещи, девочек свезли к Мане, а мальчика Сашу на время взяли Рыбниковы.

– Да, – заметила Марья Ивановна, – предчувствие не обмануло Луизу. Не прошло двух недель, как добрые люди, по рекомендации Лесовской, разобрали детей. Девочек отдали в институт, а мальчика собираются везти в кадетский корпус.

– А где сам Гольц? – спросил я.

– С недельку, – отвечал Гартнер, – я его протрезвил на гауптвахте, да и предложил подписать просьбу об отставке. Он было закапризничал. Как угодно, говорю. Сегодня пойдет рапорт по команде об исключении вас из службы за нетрезвое поведение. Ну, подписал отставку. Видно, побоялся лишиться пенсии.

Переменив в скорости место служения, я ничего не знаю о дальнейшей судьбе Гольца. Вероятно, зимой замерз где-нибудь под забором.

Вне моды

Легкая коляска, запряженная породистой серою четверкой, бежала по безлюдному раздолью черноземных степей, разбирая путаницу частых росстаней и перекрестков. По левую сторону не старого, расплывшегося кучера и запуская порою ему за спину правую руку в перчатке, чтобы придержаться за лакированный прут козел, сидел плотный малый в щегольской серой шляпе и с едва пробивающимися усами. В глубине коляски, у которой верх был откинут, лицом к малому, которого звали Василием, сидел, в далеко не щегольской серой шляпе с широкими полями и в светло-серой накидке, старик лет шестидесяти. Седая окладистая борода его совершенно сливалась с остальным нарядом, и только темнеющие усы и брови указывали, что когда-то он был темно-русый. Сильно припудренные пылью, ничем не выдающиеся черты его лица выражали усталость и апатию, а небольшие карие глаза равнодушно смотрели на откидывающийся в обе стороны веер зеленеющих хлебных загонов. Тонкий наблюдатель мог бы рассмотреть в этих усталых глазах некоторую вдумчивость и проблески нетерпения.

Назовем старика Афанасием Ивановичем[85], так

как ярлык этот общеизвестен. Рядом с ним, по правую его руку и за спиной кучера, сидела и Пульхерия Ивановна. На ней была легкая шляпка с вуалеткой, покрывающей лицо, и парусиновое пальто. Несмотря на ее пятьдесят лет; в волосах ее не заметно было седины. Между ними в ногах стоял на ребро средней величины чемодан. Кроме того, у ног Пульхерии Ивановны ютились всякого рода плетеные корзинки и на самом сиденьи между путниками торчали ручки небольшого сака. Видно было, что Пульхерия Ивановна добровольно подвергала себя всяким стеснениям, лишь бы дать возможно более простора Афанасию Ивановичу. Со своей стороны, когда какая-либо мелочь приползала с указанного ей Пульхерией Ивановной места к нему под ноги и Пульхерия Ивановна начинала хлопотать о восстановлении нарушенного порядка, Афанасий Иванович не без раздражения в голосе говорил:

– Оставь, пожалуйста. Корзина нисколько меня не беспокоит. Охота тебе возиться.

Разбегающаяся во все стороны степь только казалась до краев горизонта сплошным зеленым ковром, там и сям изрезанным черными полосами, но, в сущности, эта гладь нередко прерывалась значительными углублениями и даже бесконечными оврагами, на дне которых текли степные ручьи и речки. Кроме таких крупных задержек, представляемых самою приро-

дою края, много их возникает в силу давнишней езды одноконных обозов в грязное, преимущественно осеннее время. Стоит гладкому и широкому проселку углубиться на известное расстояние в почву, и углубление это с годами превращается в тесное корыто, по которому с величайшим трудом могут разъехаться две одноконных подводы, зато несчастным пристяжным тройки, а тем более четверки приходится на всем, нередко значительном, расстоянии совершать полувоздушные путешествия по откосам.

Видно было, что старосветские помещики едут не куда-нибудь в гости к соседям, а в более дальний путь и притом не по железной дороге, а стародавним приемом, сохранившим гражданство в наибольшей части нашей необъятной страны. Они действительно ехали за сто верст в другую губернию, куда Афанасий Иванович раз в год выезжал осмотреть свое родовое имение[86]. Почтовых лошадей в этом направлении не было; поэтому Афанасий Иванович, вынужденный ехать на своих, распорядился таким образом. Накануне выезда он отправлял подводу с овсом и поваром ночевать в уездный город, лежащий на пути в тридцати пяти верстах от дому. Повар должен был в день выезда Афанасия Ивановича покормить на половине остальных шестидесяти пяти верст и к вечеру прибыть в другое имение. Тем же способом отправлялись

и самые владельцы коляски, то есть с ночлегом в городе, с тою разницею, что на другой день они на половине дороги находили высланную им навстречу свежую четверку.

Несмотря на апатичный вид Афанасия Ивановича, было бы несправедливо назвать его ленивым и апатичным. Он многое видел на веку, со многим познакомился из книг и о многом передумал, и его тяготила окружающая жизнь, пока представляла сырую массу накопившихся и давно знакомых фактов. Ему просто надоело и претило перевертывать и перечитывать затрепанную книгу жизни, над которой его одолевала нестерпимая скука. Он знал, что в будничном соприкосновении с природою и с людьми встретит давно знакомые и избитые предметы и потому с одинаковым нерасположением относился к так называемым прогулкам и гостям; зато он оживлялся, когда ему случалось самому открыть какой-либо новый факт или перед ним являлся собеседник, будь это человек ученый или простолюдин, от которого он ожидал нового освещения давно знакомых предметов. Тут апатия его мгновенно исчезала, и карие глазки его светились огнем; он попадал в дорогу для него сферу новизны и, овладевши какою-либо новинкой, не ограничивался одним удовлетворением любопытства, а тотчас же старался отыскать новому факту надлежащее ме-

сто в общем своем мирозерцании. Он радовался, когда факт, как бы мелок он ни был, служил новым подтверждением его мирозерцания, но нимало не смущался, когда в данную минуту не умел найти ему надлежащего места. Тогда он надеялся, что место это со временем найдется, или приходил к окончательному убеждению, что это не его ума дело. Из этой двойственности отношений к жизни возникала и видимая двойственность его поступков. Только неизведанное, неиспытанное его увлекало. В этом увлечении он чувствовал свободу, тогда как перелистывание избитой книги жизни, несмотря на свою неизбежность, казалось ему нестерпимым рабством.

Зная, что всякий надзор за производством сельских работ в настоящее время связан с мучительным раздражением и, в большинстве случаев, с бесплодными усилиями, Афанасий Иванович, по природному миролюбию, старался, в ущерб собственной выгоде, не вмешиваться лично в это дело, доставляющее сельским хозяевам беспрестанный повод к посещениям сада и поля; а так как эта сторона побуждений отпадала, то гигиенические мотивы прогулок казались Афанасию Ивановичу нестерпимым рабством. Он знал, что если бы, стоя во главе хозяйства, он, насилуя по чувству долга свое миролюбие, и явился проверить данную работу, то дело от этого только бы проигра-

ло. Он вдосталь испытал, что крестьянин инстинктивно чует ту нравственную шаткость, которая составляет характер нашей современной интеллигенции, и чувствует, что первой нелепости достаточно, чтобы поставить барина в тупик там, где безыскусственный здравый смысл простолюдина не встретит ни малейшего препятствия. Опытный хозяин, он предпочитал кабинетное занятие бюджетной стороною дела весьма важною, но находящеюся в большинстве хозяйств в полном пренебрежении. Он знал, что нельзя правильно судить о ходе хозяйства и его результатах, не зная наперед ни неизбежной меры расходов, ни возможного дохода. Нельзя при нерастяжимости дохода и внезапном возвышении расхода по отдельному производству не подумать об уменьшении бюджета на менее необходимое в пользу неизбежного.

Давно Афанасий Иванович привык вести хозяйство из кабинета, из которого в подзорную трубу случайно мог видеть все происходящее даже на отдаленном конце имения, чуть не однажды в год проверяя ход дела в такую пору, когда упущение было еще поправимо. Остальное время он предпочитал проводить в кабинете за какою-либо интересною книгой не обширной, но избранной библиотеки и, чтобы не засидеться совершенно, ежедневно играл две-три партии на биллиарде с Пульхериєю Ивановною.

Нельзя сказать, чтобы вся эта, по обстоятельствам искусственная, жизнь не оставляла в душе Афанасия Ивановича налета раздражительности. Поэтому стоило Пульхерии Ивановне, войдя в кабинет Афанасия Ивановича, сказать: «сегодня на дворе чистый рай, жара еще не наступила; соловьи по целому парку поют наперебой и особенно под окном кухни такой голосистый, какого я и не слыхивала. Ты бы для воздуха прошелся хоть до оранжереи», – и Афанасий Иванович не медля отвечал:

– Воздух, матушка, везде есть. Очень рад, что так хорошо, и я тебе не мешаю гулять сколько угодно. Но меня, пожалуйста, уволь.

Зато иногда по собственному побуждению Афанасий Иванович, не говоря ни слова, надевал фуражку и выходил не только на террасу, но спускался и в партер, и в сад. Такие моменты, видимо, доставляли великое удовольствие Пульхерии Ивановне, которая тотчас же шла следом за ним. Афанасий Иванович знал, что природою нельзя любоваться во всякое время, а тем более по заказу. Нужно, чтобы фотографический снаряд был надлежащим образом подготовлен для восприятия живого образа. В минуты подобного расположения Афанасий Иванович любовно смотрел на елки, как они, развешивая кругом молодые побеги, точно напоказ выставляли стройные руки

в светло-зеленых перчатках. Иногда, присев у фонтана и следя за алмазным преломлением его луча, он вдруг останавливал свой взор на округлых извоях проплывающего облака, которого с окружающей его воздушною синевою не в состоянии произвести никакая скульптура, никакая живопись. «Вот оно, – думалось ему, – вечно новое, которого ты постоянно жаждешь». Случалось ему иногда задавать себе такие вопросы: вот этот побег хмеля так и просится своею спиралью в высоту, а между тем вокруг его нет никакой тычинки или хотя бы куста, за который он мог бы уцепиться. Только аршина на полтора в сторону, да аршина на два от земли свесился засохший сук ольхи: неужели хмель, направлясь в сторону, поймается за этот сук? Но ведь это может сделать только зрячий, так как нет никакой причины, не выдавши опоры, к ней тянуться, вопреки естественным условиям роста, да и не видя сука можно сто раз промахнуться, закидывая ус. Надо завтра посмотреть, что из этого выйдет. И когда на другой день Афанасий Иванович находил хмель крепко вцепившимся в далекую ветку, Афанасию Ивановичу казалось, что природа ему на радость позволяла на мгновение заглянуть в свою тайну. Равным образом, можно бы застать Афанасия Ивановича сидящим на скамейке или на корточках на дорожке парка и с любопытством наблюдающим хлопотливую ра-

боту муравья, тащущего неподсильную ему веточку. Все шло хорошо, веточка подвигалась с достаточной быстротой. Но вот препятствие: поперек дорожки лежит еще более крупная ветка. Пробившись понапрасну над ношей, рабочий бросает ее на месте и убегает, но через полминуты их бегут уже двое, – явно, он позвал товарища, и они вдвоем, ухватившись за толстый конец веточки, приподымают ее, пятась задом через препятствие. Вдруг мимо бегущий третий, очевидно незванный, наткнувшись на них, спешит к тонкому концу их ветки и пихает ее перед собою. При дружных усилиях ветка переходит через препятствие.

Перед самым отъездом Афанасий Иванович долго любовался приемами небольшого черноватого насекомого. На полу в кабинете лежал белый ковер, испещренный темными цветами и черными разводами. Афанасий Иванович случайно обратил внимание на мошку, торопившуюся перебежать ковер. К немалому изумлению, он заметил, что бежавшая проворно по черным разводам мошка каждый раз становилась в тупик, натыкаясь на белый фон. Она видимо пугалась этого белого и недоумевала, как продолжать путь в желаемом направлении. Постояв некоторое время на месте, она направлялась по черной полосе, если последняя, хотя и окольным путем, приближала ее к цели. Когда же приходилось идти назад, мошка выбира-

ла ближайший темный рисунок и с удвоенною быстротою перебегала через белое поле на этот темный остров с тем, чтобы по новой попутной черной полосе продолжать путь. И таких остановок перед белым было множество до самого края ковра. Положим, Афанасий Иванович был знаком с толками естествоиспытателей об охране, предоставляемой природою животным самою их окраскою, дозволяющею им быть незаметными в окружающей среде. Но ведь в данном случае сама мошка ни на минуту не забывает благоприятных и вредных условий цветов для ее безопасности и самый закон выступает во всей таинственной очевидности. Откуда такое целесообразное побуждение? Где его источник? Если отвечать: в побуждении, — то сочтут отвечающего тупоумным; но скажите то же слово по-латыне: в инстинкте, — и все довольны, хотя оно только значит: не знаю. Конечно, на такое новое Афанасий Иванович натыкался только случайно; в остальное же время искал его у могучих писателей. Зато, попадая в экипаж или вагон, он чувствовал себя страдательною поклажей и невыносимо скучал. Не встречая на пути ничего нового, он старался у знакомых предметов добиваться правды и большею частью усугублял свое раздражение сопоставлением той путаницы понятий и суждений, с которыми большинство людей относилось к этим предметам. Попа-

далась ли ему вдоль дороги темно-зеленая полоска могучей ржи, резко отбивающаяся от остального чахлого клина, или же подобная ей полоска приближалась перпендикулярно к дороге, Афанасий Иванович сразу видел, что первая – на запаханной дороге, а вторая – запаханной меже. А вот и круги сизого овса, раскиданные по тощему всходу, и Афанасий Иванович с каким-то злорадством припоминал журнальную статью, в которой мнимая наука гордилась открытием, что эти круги-следы удобрения, раскиданного в прошлом году пасшимся скотом. Для Афанасия Ивановича этот факт был только указанием, что удобрение не теряет своей силы и при поздней запашке. Когда подушка, заправленная Пульхерией Ивановной, сбивалась на сторону или плед съезжал с его колен, он долго взвешивал в уме – что лучше? – терпеть ли это увеличивающееся неудобство, или выламывать лопатки, выправляя подушку за спиною, или снова подсовывая концы пледа под ноги?

Зато при спусках в крутые балки ему предстояли тягостные передвижения. Напрасно рассудительный кучер повторял: «Будьте покойны, мы подтормозим, и Василий впереди лошадей будет только осаживать дышла», Пульхерия Ивановна, не принимая никаких резонов, повторяла: «Пустите меня ради бога, я пешком пойду».

Крутые спуски к живой воде и мосту большею частью бывают вдоль деревень, а потому Афанасию Ивановичу поневоле приходилось вылезать из коляски на защиту Пульхерии Ивановны от собак, и затем начиналось ненавистное Афанасию Ивановичу размещение подушек, корзинок и т. д. Заглушая истому, Афанасий Иванович то и дело закуривал новую папироску, а иногда старался выразить дробным числом отношение пройденного пути к остающемуся.

Но вот коляска выбралась из последней балки и наконец въехала на почтовый большак, по которому до города оставалось не более одиннадцати верст по совершенно ровной дороге. Коляска бежала, как по шоссе, и лошади до того сладились крупною рысью, что казалось, будто такт отбивают ноги одной. Однако через некоторое время в стройно отчетливый топот примешивался какой-то второстепенный разлад, и кучер Ефим, вытянув изо всех сил кнутом по спине правую пристяжную, тотчас же откидывался всем телом назад, сдерживая остальную заскакавшую тройку. Через несколько мгновений мерный топот восстанавливался, но затем – тот же беспорядочный дребезг, тот же резкий удар кнута по спине правой пристяжной и то же напряженное отклонение назад кучерской спины.

– Ефим! – восклицает Пульхерия Ивановна, – за что ты ее все бьешь?

– Ей, – внушительно отвечает Ефим, – по-настоящему здесь и работать-то не следует.

– Почему? – любопытствует Пульхерия Ивановна.

– Известно, – продолжает Ефим, – руцкая лошадь, где ж ей, примерно, сбежать с этими?

«Вот, – подумал Афанасий Иванович, – наглядное разрешение спора об искусственном и естественном подборе».

Солнце заметно стало спускаться к горизонту, когда, с едва ощутительного изволока, вдали засиял купол собора единственной церкви уездного городка. Несколько ниже, словно правильный кубический кусок сахара, белел острог.

– Только крошечку приподымись, – сказала Пульхерия Ивановна, поворачиваясь всем телом и с усилием запуская руки за спину Афанасия Ивановича, – опять твоя подушка сбилась на сторону.

– Ах, матушка! – воскликнул Афанасий Иванович, – оставь, пожалуйста! Ведь это наконец несносно! Недалеко осталось, и так доплетемся.

Но Пульхерия Ивановна, как бы не слыша ворчания Афанасия Ивановича, напряженно вытащила у него из-под спины подушку и привела ее в надлежащий порядок.

«Странно, – подумал Афанасий Иванович, – что люди точно нарочно отворачиваются от очевидной ис-

тины. Как же не видеть, что всеми действиями руководит не разум, а невольная воля. Разве Ефим не понимает, что стоит ему уменьшить рысь, и руцкая пристяжная не будет отставать? Но ему хочется катить, и он требует невозможного. Разве Пульхерия Ивановна не видит, что она мне досаждала? Но ей хочется, чтобы мне было покойно сидеть, и она выносит раздражительные ответы, которые рассердили бы стороннюю женщину. Почему же она-то не сторонняя? Ведь мы некогда были не только чужие, но даже друг с другом незнакомые люди. И вдруг такие незнакомцы становятся гораздо ближе друг к другу, чем сиамские близнецы, и не вследствие каких-либо внешних мероприятий или учреждений, а прямо потому, что они муж и жена. Самый акт сочетания мгновенно перерезает всякую самую утонченную натянутость отношений; всякое вы мгновенно превращается в ты, один становится как бы продолжением другого, всякое возвращение к прежней натянутости только искусственно и лживо. То, что мнимая наука проповедует о свободе женщины, опять-таки подсказывается не разумом, а волею. Только поиски свободы там, где ее не отвела природа, посылают разум преднамеренно запутывать вопрос, разрешаемый ежедневно самою природою, у которой весь он сводится к тому, насколько новорожденные дети в состоянии кормиться тотчас по

появлении на свет. Связь между полами тем слабее, чем способнее новорожденные к немедленному снискиванию себе пропитания. Так в куриной породе тетеревов самец забивается куда-нибудь в глушь менять перья, предоставляя тетерьке высидывать на земле цыплят, которые тотчас же, выбравшись из яйца, начинают клевать. Но у птиц, вьющих гнезда на деревьях, куда одна мать не успеет доставить птенцам достаточное количество пищи, дружелюбное отношение пар становится необходимым, и у некоторых доходит до высшей нежности. Так, например, соловей все время сидения самки на яйцах продолжает услаждать ее своим пением, которое, умолкнув при появлении детей, сменяется усиленною заботою их кормления. Явно, что хотя тут все навеки устроено согласно органическим условиям отдельного класса, но установлено не по расчету ума, а по неисповедимой воле, решающей сохранение данного рода. Следовательно, при вопросе о форме брачных отношений у людей надлежит только найти соответственную рубрику, т. е. спросить, во-первых, может ли новорожденный ребенок тотчас же сам добывать себе пищу и, во-вторых, может ли молодая мать, носящая свое бремя почти год, одна добывать пищу для себя и для десятка детей. Ответ на эти вопросы укажет на форму соответственных людских отношений».

Коляска, проехав мимо полуверстной ограды рысистых бегов, покатила по гладкой и пыльной улице, выставляющей по обе стороны вереницы самых разнообразных по наружному виду домов, большею частью под камышовыми и соломенными кровлями, между которыми попадались и исправные железные. Конечно, в целом городке нет и аршина мостовой, и при весеннем и осеннем проезде по главным улицам придется тонуть в грязи. И тут кабинетная наука не оставляет бедных людей в покое и бьет на принудительную ассенизацию города, забывая, что самый город одолжен своим существованием возможности заваливать дворы всякого рода отбросками сподручных сырых материалов, обрабатываемых нищенскими ремеслами. Требовать от хозяина убогой полуразвалившейся лачуги неподсильных трат на оздоровление и без того здоровых людей – значит насильно разгонять их в землянки по полям, куда благодетельный прогресс до них не скоро доберется.

Прокатив мимо двухэтажного каменного дома земства, кидающегося в глаза громадною вывеской и неопрятным крыльцом, коляска по обширной и безлюдной площади обогнула собор и завернула по набережной небольшой реки, превращенной мельничного плотиною в широкий пруд. Еще несколько строительных тактов, отбитых ногами четверки, и коляска, по-

вернув в переулочек и проехав вывеску с надписью: «Гостиница Соколова», остановилась против ближайших, запертых ворот.

– Сбегай узнай-ка, есть ли комнаты, – проговорил Афанасий Иванович, и спрыгнувший с козел слуга то-ропливо прошел в калитку.

Через минуту послышалось шуршание засова, и в распахивающихся воротах показался не то дворник, не то жилец в синем затасканном халате. Коляска въехала по проулку во двор и остановилась в нем перед деревянным крылечком, на пороге которого стояла небольшая востроносая и черномазая женщина, слегка раскидывавшая руками и повторявшая: «пожалуйста». Она указала проезжим довольно просторную комнату с двумя окнами во двор и двумя в тесный переулочек, отделявший самый дом от соседнего забора. Незатейливая мебелировка состояла из крашеного столика между окнами во двор, нескольких стульев, кровати против окон в переулочек и подозрительного дивана спиной к переулочку. На подоконниках стояли тщательно содержимые горшки с растениями: геранью, миртами и даже кактусом.

– Нет ли тут клопов? – спросил Афанасий Иванович, ни к кому специально не обращаясь.

– Помилуйте! – воскликнула хозяйка, – у нас этого не бывает.

Началось ношение чемодана, корзинок, кулечков из коляски, и когда все было расстановлено и разложено в конце комнаты, Пульхерия Ивановна спросила хозяйку, есть ли сливки к чаю.

Лишь только чемодан был раскрыт и в комнате зашумел запах фиалки от мыла Ралле, слуга внес два белых кувшина с водою и поставил на стул грязный медный таз. Афанасий Иванович запер выходную дверь на крючок и начал умыванье. Пульхерии Ивановне следовало умываться первой, во-первых, потому, что ей предстояло еще много хлопот, а во вторых, и потому, что Афанасию Ивановичу, при взаимной помощи, легче было, чем ей, поднимать полный кувшин с водою. Зато, когда очередь поливать дошла до Пульхерии Ивановны, она была неумолима: «еще, еще, – говорила она, – за левым-то ухом протри хорошенько. Я не понимаю, как тебе самому не противна эта грязь».

Наконец походный умывальник был удален, и Афанасий Иванович, к немалой отраде, облекся в легкий парусиновый халат. Стол покрылся свежешою салфеткою, и на нем появился кипящий самовар, серебряные ножи и вилки и несколько аккуратно свернутых пакетов, в которых оказались: индейка, язык, ватрушки и пакетик с солью. Хотя Афанасий Иванович не имел привычки есть вечером, но Пульхерия Ивановна

нарезала таких привлекательных кусков маслянистого языка, что он сделал ему небольшую честь. На дворе послышался топот лошадей, которых после проваживания по улице вел Ефим. Пульхерия Ивановна отложила из сахарницы четыре куса и сказала Василию:

– Я и на вашу долю положила чаю; убирай самовар и напой Ефима.

– Да не забудь ему сказать, – прибавил Афанасий Иванович, – чтобы завтра в половине шестого коляска была у крыльца. До пекучки надо добраться до дома.

– Как напьешься, – прибавила Пульхерия Ивановна, – приходи сюда накрыть постель. Афанасию Ивановичу на кровати, а мне – на диване.

Напрасно Афанасий Иванович протестовал против такого распоряжения. Но, заметив, что Пульхерия Ивановна стала не на шутку сердиться на вмешательство в ее дела, он замолк и присел к столу, на который

Пульхерия Ивановна положила двойную колоду карт для вечернего пасьянса Афанасия Ивановича. Это интересное дело никогда не совершалось без горячего сочувствия со стороны Пульхерии Ивановны.

– Ты вот не кладешь семерку на восьмерку и двойку-то не спасаешь, – оттого у тебя никогда и не выходит.

Заря давно погорела над крышею надворного са-

рая. Вошел слуга, и началось укрывание кровати и дивана свежими простынями и натягивание свежих наволочек на подушки.

– Поставь свечи на стол и ложись спать. Ты нам больше не нужен.

Заперев за ушедшим слугою дверь на крючок, Афанасий Иванович стал раскладывать новый пасьянс, а Пульхерия Ивановна из припасенных цельных газетных листов при помощи булавок устроила на низких окнах непроницаемые для взоров со двора занавеси, оставив открытыми только окна, обращенные к забору, откуда нельзя было ожидать нескромных глаз. Зажгли свечи, но, увидав по часам, что скоро десять, Афанасий Иванович заметил: «не пора ли на отдых? Ведь завтра рано вставать». Подойдя к кровати и сняв халат и туфли, он взобрался на жесткую, как доска, постель.

На стул у его изголовья Пульхерия Ивановна положила папиросницу, спичечницу и коробку с персидским порошком, а сама принялась за ночной туалет, окончания которого Афанасий Иванович не дождался. Он крепко заснул.

Солнце еще не всходило, когда Афанасий Иванович проснулся. Желая приблизительно определить время по цвету неба (часы Пульхерия Ивановна из предосторожности положила с вечера на стол), Афа-

насий Иванович взглянул в окно через близстоящий против него забор. На верхнем бруске последнего сидела рядом пара голубей: сизый с золотистым отливом более крупный самец и белая, как снежный комок, голубка. Оба они, распушившись, представляли два небольших шара на коралловых ножках. Но едва Афанасий Иванович успел их заметить, как самец, точно силою соскочившей пружины, высоко вскинул из своего шара красноносую головку с раскрытыми глазами, подобрал перья на всем теле и стал пушинка за пушинкой чистить и улаживать свое золотистое ожерелье. При этом сизая головка, перебивавшая перышки, все дальше и дальше совершала круг с такою свободою, как будто не состояла ни в какой органической связи с туловищем и так же свободно озира- ла и оправляла ожерелье на затылке, как и на груди. Несколько минут продолжался этот утренний туалет, но вдруг коралловый носик, повернувшись влево, сильно клюнул сидевшую рядом голубку. В то же мгновение ее белая головка подпрыгнула с раскрытыми глазами. Ее носик, в свою очередь, взялся за оттопыренные перышки ее ожерелья, но это было лишь мгновенное движение. Носик выронил пушинку, глаза закрылись белой плевою, и головка снова ушла и погрузилась в пушистый шар. Сизый голубь невозмутимо занялся туалетом, в то время как голубка продол-

жала нежиться сном. Но вот он вторично клюнул еще решительнее, и на этот раз голова голубки выскочила во всю длину шеи, и, подобрав, в свою очередь, перья, голубка занялась тщательным убором своего белоснежного ожерелья. Некоторое время оба настойчиво предавались этому занятию, и вдруг, в один и тот же момент, мелькнули четыре крыла, раздался мощный плеск с едва слышным подсвистыванием, и забор опустел.

Под влиянием заботы о приближающихся сборах к отъезду, Афанасий Иванович провел часа полтора в состоянии между сном и бдением. Сквозь дремоту он слышал, как под навесом лошади, хрустя, доедали овес, как Ефим, проскрипев воротами, водил их на водопой. Стало окончательно светло. Пульхерия Ивановна тихо спала как убитая, и Афанасию Ивановичу жаль было ее будить. Но делать было нечего – он окликнул ее.

– Ах, боже мой, – простонала Пульхерия Ивановна, – зачем ты меня будишь? Я так устала.

Афанасий Иванович подошел и слегка качнул ее за плечо, громко проговоривши:

– Вставай, пора!

Пульхерия Ивановна открыла глаза, приподнялась с подушки и затем быстро проговорила:

– Спасибо, что разбудил. А то бы я, пожалуй, опоз-

дала.

Начались сборы в дорогу.

Кактус

Несмотря на ясный июльский день и сенной запах со скошенного луга, я, принимая хинин, боялся обедать в цветнике под елками, – и накрыли в столовой. Кроме трех человек небольшой семьи за столом сидел молодой мой приятель Иванов, страстный любитель цветов и растений, да очень молодая гостья.

Еще утром, проходя через биллиардную, я заметил, что единственный бутон белого кактуса (*cactus grandiflora*), цветущего раз в год, готовится к расцвету.

– Сегодня в шесть часов вечера, – сказал я домашним, – наш кактус начнет распускаться. Если мы хотим наблюдать за его расцветом, кончающимся увяданием пополуночи, то надо его снести в столовую.

При конце обеда часы стали звонко выбивать шесть, и, словно вторя дрожанию колокольчика, золотистые концы наружных лепестков бутона начали тоже вздрагивать, привлекая наше внимание.

– Как вы хорошо сделали, – умеряя свой голос, словно боясь запугать распускающийся цветок, сказал Иванов, – что послушались меня и убрали бедного индийца подальше от рук садовника. Он бы и его залил, как залил его старого отца. Он не может помириться с мыслию, чтобы растение могло жить без

усердной поливки.

Пока пили кофе, золотистые лепестки настолько раздвинулись, что позволяли видеть посреди своего венца нижние края белоснежной туники, словно сотканной руками фей для своей царицы.

– Верно, он вполне распустится еще не скоро? – спросила молодая девушка, не обращая ни к кому особенно с вопросом.

– Да, пожалуй, не раньше как к семи часам, – ответил я.

– Значит, я успею еще побренчать на фортепьяно, – прибавила девушка и ушла в гостиную к роялю.

– Хотя и близкое к закату, солнце все-таки мешает цветку, – заметил Иванов. – Позвольте я ему помогу, – прибавил он, задвигая белую занавеску окна, у которого стоял цветок.

Скоро раздались цыганские мелодии, которых власть надо мною всесильна. Внимание всех было обращено на кактус. Его золотистые лепестки, вздрагивая то там, то сям, начинали принимать вид лучей, в центре которых белая туника все шире раздвигала свои складки. В комнате послышался запах ванили. Кактус завладевал нашим вниманием, словно вынуждая нас участвовать в своем безмолвном торжестве; а цыганские песни капризными вздохами врывались в нашу тишину.

Боже! Думалось мне, какая томительная жажда беззаветной преданности, беспредельной ласки слышится в этих тоскующих напевах. Тоска вообще чувство мучительное: почему же именно эта тоска дышит таким счастьем? Эти звуки не приносят ни представлений, ни понятий; на их трепетных крыльях несутся живые идеи. И что, по правде, дают нам наши представления и понятия? Одну враждебную погоню за неуловимую истиной. Разве самое твердое астрономическое понятие о неизменности лунного диаметра может заставить меня не видеть, что луна разрослась на востоке? Разве философия, убеждая меня, что мир только зло, или только добро, или ни то ни другое, властна заставить меня не содрогаться от прикосновения безвредного, но гадкого насекомого или пресмыкающегося или не слышать этих зовущих звуков и этого нежного аромата? Кто жаждет истины, ищи ее у художников. Поэт говорит:

Благоговевя богомольно
Перед святыней красоты.[87]
Другой высказывает то же словами:
Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.[88]

Этому по крайней мере верили в сороковых годах. Эти верования были общим достоянием. Поэт тогда не мог говорить другого, и цыгане не могли идти тем путем, на который сошли теперь. И они верили в красоту и потому ее и знали. Но ведь красота-то вечна. Чувство ее – наше прирожденное качество.

Цыганские напевы смолкли, и крышка рояля тихонько стукнула.

– Софья Петровна, – позвал Иванов молодую девушку, – вы кончили как раз вовремя. Кактус в своем апофеозе. Идите, это вы нескоро увидите.

Девушка подошла и стала рядом с Ивановым, присевшим против кактуса на стул, чтобы лучше разглядеть красоту цветка.

– Посмотрите, какая роскошь тканей! Какая девственная чистота и свежесть! А эти тычинки? Это папское кропило, концы которого напоены золотым раствором. Теперь загляните туда, в глубину таинственного фиала. Глаз не различает конца этого не то светло-голубого, не то светло-зеленого грота. Ведь это волшебный водяной грот острова Капри. Поневоле веришь средневековым феям. Эта волшебная пещера создана для них!

– Очень похоже на подсолнух, – сказала девушка и отошла к нашему столу.

– Что вы говорите, Софья Петровна! – с ужасом

воскликнул Иванов; – в чем же вы находите сходство? Разве в том только, что и то и другое – растение, да что и то и другое окаймлено желтыми лепестками. Но и между последними кричащее несходство. У подсолнуха они короткие, эллиптические и мягкие, а здесь, видите ли, какая лучистая звезда, словно кованная из золота. Да сам-то цветок? Ведь это храм любви!

– А что такое, по-вашему, любовь? – спросила девушка.

– Понимаю, – ответил Иванов. – Я видел на вашем столике философские книжки или по крайней мере желающие быть такими. И вот вы меня экзаменуете. Не стесняясь никакими в мире книжками, скажу вам: любовь – это самый произвольный, а потому самый искренний и обширный диапазон жизненных сил индивидуума, начиная от вас и до этого прелестного кактуса, который теперь в этом диапазоне.

– Говорите определеннее, я вас не понимаю.

– Не капризничайте. Что сказал бы ваш учитель музыки, услышав эти слова? Вы, может быть, хотите сказать, что мое определение говорит о качествах вещи, а не об ее существовании. Но я не мастер на определения и знаю, что они бывают двух родов: отрицательные, которые, собственно, ничего не говорят, и положительные, но до того общие, что если и говорят что-либо, так совершенно неинтересное. Позвольте же мне на

этот раз остаться при своем, хотя и одностороннем, зато высказывающем мое мнение...

– Ведь вы хотите, – прервала девушка, – объяснить мне, что такое любовь, и приводите музыкальный термин, не имеющий, по-моему, ничего общего с объясняемым предметом.

Я не выдержал.

– Позвольте мне, – сказал я, – вступить за своего приятеля. Напрасно вы проводите такую резкую черту между чувством любви и чувством эстетическим, хоть бы музыкальным. Если искусство вообще недалеко от любви (эроса), то музыка, как самое между искусствами непосредственное, к ней всех ближе. Я бы мог привести собственный пример. Сейчас, когда вы наигрывали мои любимые цыганские напевы, я под двойным влиянием музыки и цветка, взалкавшего любви, унесся в свою юность, во дни поэзии и любви. Но чтоб еще нагляднее оправдать слова моего приятеля, я готов рассказать небольшой эпизод, если у вас хватит терпения меня выслушать.

– Хватит, хватит. Сделайте милость расскажите, – торопливо проговорила девушка, присаживаясь к столу со своим вязанием.

– Ровно 25 лет тому назад я служил в гвардии и проживал в отпуску в Москве, на Басманной. В Москве встретился я со старым товарищем и однокашником

Аполлоном Григорьевым. Никто не мог знать Григорьева ближе, чем я, знавший его чуть не с отрочества. Это была природа в высшей степени талантливая, искренно преданная тому, что в данную минуту он считал истиной, и художественно-чуткая. Но, к сожалению, он не был, по выражению Дюма-сына, из числа людей знающих[89] (*des hommes qui savent*) в нравственном смысле. Вечно в поисках нового во всем, он постоянно менял убеждения. Это они называют развитием, забывая слово Соломона, что это уже было прежде нас[90]. По крайней мере он был настолько умен, что не сетовал на то, что ни на каком поприще не мог пустить корней, и говаривал, что ему не суждено процветать[91]. В означенный период он был славянофилом и носил не существующий в народе кучерской костюм. Несмотря на палящий зной, он чуть не ежедневно являлся ко мне на Басманную из своего отцовского дома на Полянке. Это огромное расстояние он неизменно проходил пешком и вдобавок с гитарой в руках. Смолоду он учился музыке у Фильда и хорошо играл на фортепьяно, но, став страстным цыганистом, променял рояль на гитару, под которую слабым и дрожащим голосом пел цыганские песни. К вечернему чаю ко мне нередко собирались два, три приятеля-энтузиаста, и у нас завязывалась оживленная беседа. Входил Аполлон с гитарой и садился за

нескончаемый самовар. Несмотря на бедный голосок, он доставлял искренностью и мастерством своего пения действительное наслаждение. Он, собственно, не пел, а как бы пунктиром обозначал музыкальный контур пьесы.

– Спойте, Аполлон Александрович, что-нибудь!

– Спой в самом деле! – И он не заставлял себя упрашивать. Певал он по целым вечерам, время от времени освежаясь новым стаканом чаю, а затем, нередко около полуночи, уносил домой пешком свою гитару. Репертуар его был разнообразен, но любимую его песней была венгерка[92], перемежавшаяся припевом:

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
С голубыми ты глазами, моя душечка!

Понятно, почему эта песня пришлась ему по душе, в которой набегавшее скептическое веяние не могло загасить пламенной любви, красоты и правды. В этой венгерке сквозь комически-плясовую форму прорывался тоскливый разгул погибшего счастья. Особенно оттенял он куплет:

Под горой-то ольха,
На горе-то вишня;
Любил барин цыганочку, —

Она замуж вышла.

Однажды вечером, сидя у меня один за чайным столом, он пустился в эстетические тонкости вообще и в похвалы цыган в особенности.

– Да, – сказал я, – цыганской песни никто не поет, как они.

– А почему? – подхватил Григорьев, – они прирожденные, кровные, а не вымуштрованные музыканты. Да и положение их примадонн часто споспешествует делу. Любовь для певца та же музыка. Эх, брат! – вскрикнул он вдруг, вытирая лоб пестрым платком, – надо показать тебе чудо. Ты знаешь, я часто таскаюсь в Грузины[93] в хор Ивана Васильева[94]. Он мой приятель и отличный человек. Там у них есть цыганочка Стеша. Ты ее не знаешь? Не заметил?

– Где же мне ее было заметить? Я почти нигде не бываю.

– Ну, так надо тебе ее увидеть. Во-первых, она – прелесть. Какие глаза и ресницы и, я знаю твою страсть к волосам, какие волосы? Но этого мало. Надо, чтобы ты ее услышал с глазу на глаз. Бедняжка влюблена в одного гусара. Я его видел. Действительно красавец, каналья. А ты знаешь, как хор ревниво бережет своих примадонн. Тут брат, идиллиями не возьмешь. Выкупи! – а на это мало охотников. Уж не

знаю, как они там путаются. Но, видно, дело не выгорает, а девочка-то врезалась. После обеда хор-то разойдется отдыхать, а она возьмет гитару да сядет под окошечко, – словно кого поджидает. Запоет, и слезы градом. Тут нередко Иван Васильев подойдет и вполголоса ей вторит. Жалко, что ли, ему ее станет, или уж очень забористо она поет, только, поглядишь, он тут как тут. Вот как бы тебя подвести под эту штуку, ты бы узнал, как поют. Поэзия – да и только! Да вот, чем: откладывать, я завтра к тебе приду в двенадцать часов, а в час мы поедем. Ведь ваша братия, кавалеристы, плохие ходоки.

– Да как же, любезный друг, я-то вотрюсь? Ведь она при мне ж петь не станет.

– Ну, это я как-нибудь оборудую. Едем, что ль?

– Хорошо, приходи.

На другой день хотел было я велеть запрячь свою скромную пролетку, но подумал: Григорьев без гитары не придет. Убеждать его – дело напрасное. А куда я в мундире поеду через всю Москву с каким-то не то кучером, не то торбанистом, что подумает плац-адъютант? Я велел нанять извозчичью карету. В двенадцать часов вошел Григорьев с гитарой, в поддевке, в плисовых шароварах в сапоги, словом, по всей форме.

– Что ж это мы в карете? – спросил он.

Я сослался на зубную боль, которою, в добрый час молвить, во всю жизнь не страдал. Однако он догадался, и начались препирания.

Тем не менее мы доехали до Грузин и бросили карету недалеко от цыган. Григорьев быстро зашагал звонить, а я подоспел вовремя, когда дверь отворили.

В передней уже слышалось бряцание гитары и два голоса.

– Это она, – шепнул Григорьев, и вошел в залу. Я за ним.

– Здравствуйте, Стеша! – сказал он, протягивая руку сидящей у окна девушке с гитарой. – Здравствуй, Иван Васильевич! Продолжайте, я вам не помеха.

Но девушка, ответив на его рукожатие, бросила недоверчивый взгляд в мою сторону и, положи гитару на стол, быстро пошла к двери, ведущей во внутренние покои. Григорьев так же быстро заступил ей дорогу и схватил ее за рукав.

– Куда вы? Что за вздор? Ну, не хотите петь, не пойте. Что ж из себя дикую птицу корчить? Для кого? Иван Васильевич, да уговори ее посидеть с нами! Я пришел ее, дорогую, проведать, а она вон. Ну, садитесь, садитесь, моя хорошая, – говорил он, подводя ее на прежнее место. Начался разговор про разные семейные отношения членов хора, в продолжение которого Григорьев, между речами, под сурдинкой наигры-

вал разные мотивы. В течение всей этой сцены я, чтобы скрыть свое неловкое положение, пристально рассматривал в окно упряжку стоявшего по другую сторону улицы извозчика, словно собирался ее купить.

– Присядьте, – сказал мне подошедший Иван Васильев. Я сел.

– Ты об нем не беспокойся, – сказал Григорьев, – он; братец, не по нашей музыкальной части. Его дело – лошади. Он, пока мы поболтаем, пусть себе посидит да покурит.

Я махнул отчаянно рукой и снова обернул голову к окну изучать извозчика. Между тем Григорьев, наигрывая все громче и громче, стал подпевать. Мало-помалу сам он входил в пессию, а как дошел до своей любимой:

Под горой-то ольха,
На горе-то вишня;
Любил барин цыганочку —
Она замуж вышла —

очевидно, забыл и цель нашего посещения и до того загорелся пением, что невольно увлекал и других. Когда он хлестко запел:

В село красно стеганула.
Эх – стеганула,

Моя дорогая —

ему уже вторил бархатный баритон Ивана Васильева. Вскоре, сперва слабо, а затем все смелее, стал проникать в пение серебряный сопрано Стеши.

– Эх, господи! Да что же я тут вам мешаю, – воскликнул Григорьев. – Мне так не сыграть, а не то чтобы спеть. Голубушка Стеша, спойте что-нибудь, – прибавил он, подавая ей ее гитару.

Она уже без возражений запела, поддерживаемая по временам Иваном Васильевым. Слегка откинув свою оригинальную, детски задумчивую головку на действительно тяжеловесную с отливом воронова крыла косу, она вся унеслась в свои песни. Уверенный, что теперь она не обратит на меня ни малейшего внимания, я придвинул свой стул настолько, что мог видеть ее почти в профиль, тогда как до сих пор мог любоваться только ее затылком. Когда она запела:

Вспомни, вспомни, мой любезный,
Нашу прежнюю любовь —

чуть заметная слезинка сверкнула на ее темной реснице. Сколько неги, сколько грусти и красоты было в ее пении! Но вот она взяла несколько аккордов и запела песню, которую я только в первой молодости слыхивал у московских цыган, так как современ-

ные петь ее не решались. Песня эта, не выносящая посредственной певицы, известная:

«Слышишь ли, разумеешь ли».

Стеша не только запела ее мастерски, но и расположила куплеты так, что только с тех пор самая песня стала для меня понятна, как высокий образчик народной поэзии. Она спела так:

Ах ты злодей, ты злодей,
Добрый молодец.
Во моем ли саду
Соловей поет,
Громко свищет.
Слышишь ли,
Мой сердечный друг?
Разумеешь ли,
Жизнь, душа моя?

Песня исполнена всевозможных переливов, управляемых минутным вдохновением. Я жадно смотрел на ее лицо, отражавшее всю охватившую ее страсть. При последних стихах слезы градом побежали по ее щеке. Я не выдержал, вскочил со стула, закричал: браво! браво! и в ту же минуту опомнился. Но уже было поздно. Стеша, как испуганная птичка, упорхнула.

– Что же вы на это скажете, скептическая девица? Разве эта Стеша не любила? Разве она могла бы так петь, не любя? Стало быть, любовь и музыка не так далеки друг от друга, как вам угодно было утверждать?

– Да, конечно, в известных случаях.

– О скептический дух противоречия! Да ведь все на свете, даже химические явления, происходят только в известных случаях. Однако вы льете воды и вам надо рано вставать. Не пора ли нам на покой?

Когда стали расходиться, кактус и при лампе все еще сиял во всей красе, распространяя сладостный запах ванили.

Иванов еще раз подсел к нему полюбоваться, надышаться, и вдруг, обращаясь ко мне, сказал:

– Знаете, не срезать ли его теперь в этом виде и не поставить ли в воду? Может быть, тогда он проживет до утра?

– Не поможет, – сказал я.

– Ведь все равно ему умирать. Так ли, сяк ли.

– Действительно.

Цветок был срезан и поставлен в стакан с водой. Мы распрощались. Когда утром мы собрались к кофею, на краю стакана лежал бездушный труп вчерашнего красавца кактуса.

Примечания

[1] Крупов – герой повести Герцена «Доктор Крупов» (1847).

[2] Изида – божество Древнего Египта; здесь в смысле: таинственная, непостижимая святыня.

[3] И. П. Борисов.

[4] Гелла – героиня древнегреч. мифа; спасаясь от мачехи, бежала в Колхиду и при переправе в Малую Азию утонула в море (названного по ее имени Геллес-понт).

[5] Европа – по древнегреч. мифу, дочь финикийского царя: на берегу моря была похищена Зевсом, принявшим облик быка и перевезшим ее на остров Крит.

[6] О мертвых – ничего, кроме хорошего (лат.).

[7] «Эмиль, или О воспитании» – центральное педагогическое сочинение Жан-Жака Руссо (1712–1778); отчим поэта, А. Н. Шеншин, был приверженцем педагогических идей Руссо.

[8] Неточная цитата из XXV строфы поэмы Пушкина «Домик в Коломне».

[9] Кир Великий (ум. в 530 г. до н. э.) – древнеперсидский царь. История воспитания Кира рассказана в знаменитом сочинении древнегреч. писателя Ксенофонта «Киропедия».

[10] Александр Македонский (356–323 г. до н. э.). Одним из воспитателей его был философ Аристотель.

[11] Сократ (470/469-399 г. до н. э.) – древнегреч. философ и воспитатель. Обвиненный в развращении молодежи, принял яд.

[12] В воспоминаниях «Ранние годы моей жизни» Фет пишет: «Сестры отца моего, Любовь и Анна, были замужем. Первая за богатым Волховским помещиком Шеншиным... У Шеншиной был сын Капитон...» Тетушка Любовь Неофитовна, ее муж Шеншин (имени его Фет не сообщает), их сын Капитон, их усадьба Пальчиково (Волховского уезда Орловской губернии) – все это, прежде чем попасть в мемуары Фета, послужило материалом для его рассказа.

[13] какой вы! (фр.)

[14] мой дорогой... моя дорогая... (фр.)

[15] Апишь, идите сюда! Поклонитесь вашей дражайшей тетушке, обнимите вашего кузена. О, как вы любезны! (фр.)

[16] как он язвителен! (фр.)

[17] Апишь, что вы делаете? (фр.)

[18] Говорите по-французски... какой вы! (фр.)

[19] Выжловки – охотничье название породы гончих собак.

[20] Апишь! начинайте (фр.).

[21] как вы строги (фр.).

[22] несомненно! (фр.)

[23] мой друг! Что же это такое? (фр.)

[24] как это хорошо! (фр.)

[25] Пойдемте ко мне в комнату, друзья мои (фр.).

[26] Теперь вы идите ко мне (фр.).

[27] братец, как вы язвительны (фр.).

[28] Она умеет танцевать... Смотрите (фр.).

[29] покажите язык (фр.).

[30] Идите сюда... Танцуйте, танцуйте! (фр.)

[31] О, мой брат! что такое! (фр.)

[32] Сю Эжен (1804–1857) – французский писатель; в 40-е годы большой популярностью пользовался его роман «Матильда» (1841).

[33] бог из машины (лат.).

[34] Она вся в ваших подарках (фр.).

[35] Имею честь представить вам госпожу Шмакову (фр.).

[36] Желаю удачи! (фр.)

[37] Принеси (фр.).

[38] Фет многократно, в различных своих произведениях, цитировал эти строки стихотворения Лермонтова, которые, очевидно, отвечали каким-то существенным свойствам его собственного мироощущения. Еще одну «лермонтовскую деталь» в этом рассказе отметил Б. Садовской: «Любопытно, что начало рас-

сказа написано в чисто лермонтовской манере... повествование ведется от вымышленного имени штаб-ротмистра Ковалева: записки его после смерти автора достались Фету так же, как Лермонтову дневник Печорина».

[39] вечно куропатки (фр.).

[40] Семь смертных грехов (фр.).

[41] Ангел мой! Ваша жена человек недостойный (фр.).

[42] мой дорогой племянник! (фр.)

[43] Садитесь (фр.).

[44] В каком вы чине? (фр.)

[45] как это хорошо. Какую честь вам это делает? (фр.)

[46] как вы любезны! (фр.)

[47] Что вы делаете? Идете сюда! (фр.)

[48] Поклонитесь вашему дражайшему дядюшке! (фр.)

[49] Кто вы такая. Что это? Отвечайте! (фр.)

[50] Я бедная, несчастная! Мой дражайший папа меня не любит. Моя дорогая мама меня покинула (фр.).

[51] А кто вам остался? (фр.)

[52] У меня лишь моя дражайшая бабушка (фр.).

[53] как хорошо! (фр.)

[54] Идите играть! (фр.)

[55] Он такой бездельник (фр.).

[56] Он ничего мне не дает... А иногда он очень груб (фр.).

[57] Покажите язык (фр.).

[58] Волчий корень... рвотный орех (лат.).

[59] милостивая государыня (нем.).

[60] Не добром, так силой (нем.).

[61] И то, чего не постигает разум разумных – то постигает детский дух в его простоте (нем.).

[62] «Мессиада» (1751–1773) – религиозная эпическая поэма немецкого поэта XVIII в. Ф. Клопштока (1724–1803).

[63] точка (лат.).

[64] Строка из стихотворения Ф. Тютчева «Итальянская villa».

[65] В городе Крылове (Новогеоргиевске) находился штаб кирасирского полка, в котором служил Фет; об этом городе.

[66] Полковому лекарю Фет придал некоторые черты своего московского приятеля студенческих времен Иринарха Ивановича Введенского.

[67] возобновлять несказанную скорбь ты велишь мне, царица! (Энеида) (лат.) (Примеч. А. А. Фета).

[68] Среди овечьих стад стремится за ловитвой (лат.). (Примеч. А. А. Фета).

[69] Потом кидается на раздраженных змей (лат.).

(Примеч. А. А. Фета).

[70] То, что не лечат лекарства, лечит меч (лат.).

[71] Ничто не может возникнуть из ничего и нельзя обратить его в ничто (лат.).

[72] ничто (лат.).

[73] повторенье (лат.).

[74] мать ученья (лат.).

[75] пылать желанием открытия истины (лат.). (Примеч. А. А. Фета).

[76] «Ненавижу непосвященную» (лат.).

[77] Кто вспомнит за вином про службу с нищетою? (лат.). (Примеч. А. А. Фета).

[78] Пить больше трех, боясь раздору,
Нагии грации претят (лат.). (Примеч. А. А. Фета).

[79] Бык стоял... (лат.). (Примеч. А. А. Фета).

[80] Ненавижу непосвященную... стояла ночь...
гредишь о звездах (лат.).

[81] дражайший коллега (лат.).

[82] Цитата из стихотворения Пушкина «Красавица» (1832).

[83] Дамы и господа! (фр.)

[84] Поэму Гете «Герман и Доротея» Фет цитирует в своем переводе.

[85] В своем последнем рассказе (представляющем собой наиболее «чистый» случай автобиографизма фетовской прозы) поэт применяет к себе и своей жене

имена гоголевских «старосветских помещиков».

[86] В 1880–1890-е годы Фет, в качестве опекуна своей племянницы О. Галаховой, совершал ежегодные «инспекторские наезды» в принадлежащее ей древнее, вотчинное владение рода Шеншиных – Клейменово (в 30 километрах от Мценска). В рассказе «Вне моды» как раз и описан этот неблизкий путь – из Воробьевки (Щигровского уезда Курской губернии) в Клейменово, с ночевкой в Орле. Сюжет этого последнего рассказа Фета – буднично-документален, но вместе с тем и символичен: поэт описывал «дальний путь» в Клейменово, где были похоронены многие члены рода Шеншиных и где вскоре он сам обрел вечный покой, завершив свой долгий и многотрудный жизненный путь.

[87] Благоговейя богомольно Перед святыней красоты. – Заключительные строки из стихотворения Пушкина» «Красавица» (1832).

[88] Не кончив молитвы... навстречу. – Строфа из стихотворения Лермонтов» «Есть речи – значенье...» (1840).

[89] ...по выражению Дюма-сына, из числа людей знающих... – Источник выражения не обнаружен.

[90] ... слово Соломона, что это уже было прежде нас. – Имеется в виду библейский текст: «Что было, то и есть и будет» (Экклезиаст, гл. 1, ст. 9).

[91] Просперировать – процветать (от франц. prosperer).

[92] ... любимую его песней была венгерка... – Речь идет не о стихотворении Г. «Цыганская венгерка», а о каком-то ее реальном цыганском прототексте, из которого Г. взял двестишье «Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка...».

[93] Грузины – район Б. Грузинской улицы в Москве.

[94]Вспомни... Нашу прежнюю любовь... – В первопечатном тексте было: «Прежнюю нашу любовь»; исправлено по ритму.